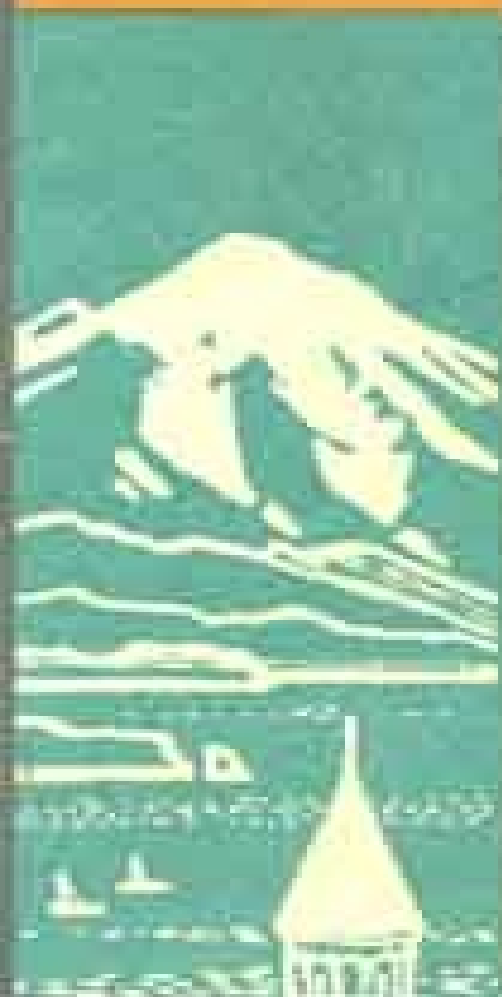


СПЕНДИАРОВ



Марина
Спендиарова



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Автор книги М.А.Спендиарова долгие годы любовно собирала многочисленные материалы, шаг за шагом следуя по жизненному пути отца, воскрешая образ одержимого музыкой мечтателя, увлеченного общественного деятеля, нежнейшего семьянина, человека с младенчески чистой душой, наивного и кроткого. Несмотря на перенесенные голод, болезнь, неурядицы первых лет существования молодой Армянской республики, композитор целиком отдавал себя становлению музыкальной жизни. Вся Армения с ее величавыми памятниками старины должна была отразиться в задуманных им произведениях.

- -
 - [1](#)
 - [Вступление](#)
 - [Мать](#)
 - [Отец](#)
 - [В гимназии](#)
 - [Первые музицирования](#)
 - [Скрипка](#)
 - [«Очарован твоею красою»](#)
 - [На оперном представлении в Одессе](#)
 - [Окончание гимназии. «Кармен»](#)
 - [2](#)
 - [В Москве](#)
 - [Начало занятий композицией](#)
 - [В обществе московских армян](#)
 - [Братья](#)
 - [Варвара Аполлоновна Эберле](#)
 - [В Петербург, к Римскому-Корсакову!](#)
 - [Айвазовский и его внучка](#)
 - [3](#)
 - [В уединении](#)
 -
 - [Мечта осуществилась](#)
 - [У Мазировых и Меликенцовых](#)

- [Среди петербургских музыкантов](#)
 - [Горе](#)
 - [В Судакe](#)
 - [Женитьба](#)
 - [Первое исполнение «Концертной увертюры»](#)
- [4](#)
 - [В доме № 3 по Екатерининской улице](#)
 - [«Рыбак и фея»](#)
 - [«Крымские эскизы»](#)
 - [Аренский](#)
 - [«Три пальмы»](#)
 - [На музыкальных «средах» у Римских-Корсаковых](#)
 - [Глазунов](#)
 - [Вторая серия «Крымских эскизов»](#)
 - [Нашествие красных жуков](#)
- [5](#)
 - [«Алмаст»](#)
 - [При свете копилки](#)
 - [Композитор и комиссар](#)
 - [Голод](#)
 - [Окончание оперы](#)
 - [Первая сюита из оперы «Алмаст»](#)
- [6](#)
 - [Перед отъездом. Путешествие](#)
 - [В Эривани](#)
 - [Ученики](#)
 - [Первый концерт консерваторского оркестра](#)
 - [«Эриванские этюды»](#)
 - [Юбилей](#)
 - [После юбилея](#)
 - [Четвертый акт оперы «Алмаст» остался неоркестрованным](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. А. СПЕНДИАРОВА](#)
- [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
 - [Основные сочинения А.А. Спендиарова](#)
- [Основная литература о жизни и творчестве А.А. Спендиарова](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)

- [81](#)
 - [82](#)
 - [83](#)
 - [84](#)
 - [85](#)
 - [86](#)
 - [87](#)
 - [88](#)
 - [89](#)
 - [90](#)
 - [91](#)
 - [92](#)
 - [93](#)
 - [94](#)
 - [95](#)
 - [96](#)
 - [97](#)
 - [98](#)
 - [99](#)
 - [100](#)
 - [101](#)
 - [102](#)
 - [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
-

Я рад этой книге. Рад, что правдивое свидетельство о жизни моего дорогого друга, замечательного композитора и человека останется для потомков, ляжет в основу последующих трудов о нем.

Я очевидец того, как М.А. Спендиарова долгие годы кропотливо и любовно собирала многочисленные материалы: опрашивала современников, рылась в архивах. Очень многое написано ею по собственным воспоминаниям.

Это книга, в которой дочь шаг за шагом следует по жизненному пути отца, воскрешает образ одержимого музыкой мечтателя, увлеченного общественного деятеля, нежнейшего семьянина, человека с младенчески чистой душой, наивного и кроткого. Трогает его детская незащищенность, восхищает мужество.

В самом деле, какими душевными силами надо было обладать, чтобы в морозной комнате, при свете коптилки, перед лицом голодной смерти сочинять пиршественную музыку! Годы благоденствия прошли для него в мучительных поисках, и вдохновение пришло, когда, казалось, все силы должны были быть направлены лишь на то, чтобы выжить.

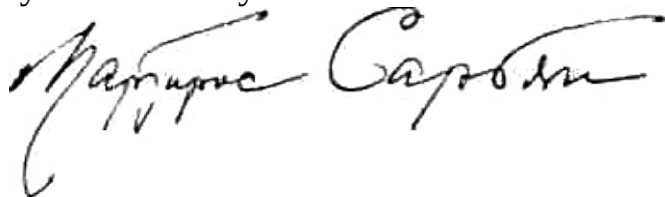
Вот это и есть подлинное величие художника.

«Алмаст» стала, в сущности, лебединой песней Спендиарова. Это вершина его творчества, драгоценный дар армянскому народу.

Перенесенный голод, болезнь и неурядицы первых лет существования молодой Армянской республики, становлению музыкальной жизни которой композитор отдавал себя целиком, подкосили его и без того хрупкое здоровье.

Смерть рано унесла его от нас, не дав осуществиться замыслам, которыми он не раз со мной делился. Вся Армения с ее величавыми памятниками старины и чертами нового должна была отразиться в задуманных им произведениях.

Александр Афанасьевич Спендиаров оставил по себе поистине светлую память. Пусть она останется поколениям.



Вступление

В осенние дни 1855 года дороги северозападного Крыма были запружены подводами с беженцами. В окрестностях Перекопа бродили банды башибузуков. Населявшие Перекопский уезд армяне бежали в Северную Тавриду. Среди них был житель перекопского предместья Армянск Авксентий Спендиаров — дед композитора. Он поселился с семьей в Каховке.

Об Авксентии Спендиарове известно очень мало. Сохранилось семейное предание, характеризующее его как человека смелого и находчивого. Однажды напал на него бешеный верблюд. Не растерявшись, Авксентий набросил пиджак на морду разъяренного животного. Пока верблюд освобождался от пиджака, Авксентий ускакал в степь.

Он умер молодым, оставив сыновьям небольшой капитал.

Старший сын, Степан, приобрел в Крыму имение, покинутое татарами, ушедшими в Турцию на обещанный султаном «алтынтопрах»^[1]. Он прожил свой век в полном бездействии, богатея лишь потому, что росла цена на его землю.

Второй сын, Осип, живо промотав отцовские деньги на парадные выезды, картежную игру и другие соблазны, остался до конца жизни «бедным родственником».

Третий сын, Афанасий, человек большой воли и упорства, поставил себе целью преумножить средства, доставшиеся ему от отца. Он купил в Крыму имение «Картказак», рассчитывая в будущем построить там торговую гавань, и открыл лесное дело в Каховке и Симферополе.

Афанасий Авксентьевич Спендиаров — отец композитора — обладал красивой внешностью и звучным голосом. В 1862 году, двадцати двух лет от роду, он женился на карасубазарской^[2] барышне — Наталье Карповне Селиновой.

Семейство Селиновых было известно среди крымских армян передовыми взглядами и стремлением к просвещению. Один из представителей этого семейства, помещик, по прозвищу «Черный Селинов», женился на революционно настроенной учительнице и отдал свою землю крестьянам. Отец Натальи Карповны, в молодости купец, привозивший в Ташхан^[3] ковры и бархат из Константинополя, занимал в Карасубазаре выборную должность. Его сын и три племянника получили образование в Москве. Следуя московской моде, они уговорили Карпа

Ивановича отдать двух дочерей — Анну и Наталью — в Керченский институт благородных девиц. С тех пор голубоглазую светловолосую Тушик стали называть на французский манер — Натали.

Она была необыкновенно музыкальна. С детства подбирала на фортепьяно татарские мелодии, исполняемые чал-музыкой^[4]. Институт она не кончила, но и несколько лет обучения там отличали ее от сверстниц, воспитанных дома: она знала языки, усвоила светские манеры и научилась играть на фортепьяно по нотам.

Ее выдали замуж за Афанасия Авксентьевича, когда ей исполнилось семнадцать лет.

«Афанасий Авксентьевич и Наталья Карповна Спендиаровы, — гласило их свадебное приглашение, украшенное миниатюрой с птицей в цветущих ветвях, — покорнейше просят на бал, имеющий быть после бракосочетания...»

Свадьбу праздновали в Феодосии, в доме Аннеты, вышедшей замуж годом раньше сестры. Среди прочих гостей присутствовал художник Айвазовский — в пушкинских бакенбардах и небрежно повязанном галстуке. Впоследствии он говорил, что синеглазая новобрачная, одетая в белое кисейное платье, была похожа на севрскую статуэтку.

Молодые поселились в Каховке. В 1869 году родился у них сын Леонид. 20 октября 1871 года в круглой комнате, выходящей окнами на Днепр, родился второй сын — Александр.

Мать

Он унаследовал от матери светлые волосы, кроткий нрав и тяготение к искусству.

— Бывало, Леня бегают, резвятся, — рассказывала Наталья Карповна, — а Саша сидит себе на ковре и мнет ручками шелковую бумагу, выделявая из нее разных животных.

В сравнении с Леней, напоминавшим живостью и неистощимой энергией Афанасия Авксентьевича, Саша казался вялым и болезненным: он не любил детских игр, боялся холода и холодной воды и безутешно плакал, когда мать уходила из дому.

Своей мечтательной игрой на фортепьяно мать пробудила в нем раннюю любовь к музыке. Едва достигая головой клавиатуры, Саша стоял у ее широких юбок, прислушиваясь к татарским песням и пляскам, которые она наигрывала, уносясь мыслью в родной Крым.

Года в четыре он стал самостоятельно подбирать мелодии. У него было тончайшее чувство ритма. Наталья Карповна любила рассказывать, как удивлены были однажды каховчане, увидев впереди марширующего полка ее маленького сына, отбивающего ритм на барабане.

Саше исполнилось шесть лет, когда после размолвки с мужем Наталья Карповна переехала в Симферополь.

Вместе с детьми, которых у нее было пятеро, и бедной родственницей Такуш-тетей, взятой в дом в качестве воспитательницы, она поселилась на Долгоруковской улице в одноэтажном особнячке с красной плюшевой гостиной.

Именно в этой гостиной, на ковре, около длинного рояля фирмы «Плейель» и этажерки с Сашиними бумажными изделиями мальчика впервые увидел художник Айвазовский. Плененный талантом терпеливого ребенка, упорно нащупывающего форму, он стал настойчиво советовать Наталье Карповне обучать сына скульптуре, а уходя, взял с этажерки несколько фигурок из шелковой бумаги, чтобы продемонстрировать их в Академии художеств^[5] *.

В первые дни по приезде семьи в Симферополь в доме на Долгоруковской царила пугающая тишина, усугубляемая шепотом домочадцев и шуршанием юбок матери и Такуш-тети. Но вскоре дом ожил. В отсутствие Афанасия Авксентьевича, наезжавшего в Симферополь по делам лесной конторы, в гостиной становилось тесно от цветных

кринолинов, колыхавшихся под звуки вальса. Равно приветливая к богатым и бедным, веселая и ласковая Наталья Карповна сумела превратить свой скромный особнячок в один из гостеприимнейших уголков Симферополя. Даже старый селиновский дом в Карасубазаре, огражденный от мира глухой стеной, становился многолюдным и оживленным, когда его посещала Наталья Карповна.

Саша любил эти поездки в старый город с его веками устоявшимся бытом.

Точно перечитывая любимую книжку, он знал наперед все, что ему предстояло там увидеть. По ухабистой улице, на которой даже летом не высыхают лужи, они подъедут к высокой калыбной^[6] стене. Мать дернет за колокольчик, и у раскрывшейся калитки появятся селиновские домочадцы с седым как лунь дедушкой Карпом Ивановичем впереди. Гостей поведут в стеклянную галерею целовать пухлую руку бабушки Татьяны Ивановны — непомерно толстой старухи в кружевной накидке и такой же наколке. Только уйдут они в комнаты, как она закричит громким голосом, напоминающим крик совы: «Гаяна-джа! Са-вет-джа! Солдат Гаяна-джа!» На ее зов сбегутся приживалки в черных косынках, и не успеют гости привести себя в порядок, как стол в столовой будет заставлен чебуреками, шекер-береком^[7] и вареньем разных сортов.

Особенно занятно бывало в Карасубазаре на масленице, которую праздновал весь город без различия веры и национальности.

Чего только Саша не видел с балкона дома, выходящего на площадь! Зрелище сменялось зрелищем. Вот внимание его привлекли борцы, подзуживаемые гиканьем возбужденной толпы. Но раздаются крики, и все бегут в сторону, чтобы увидеть... Что увидеть? Облезлую обезьяну в пиджачке, выделяющую по приказанию старого татарина что-то вроде па ойнавы^[8]. Недолго пришлось Саше разглядывать и обезьянку. Площадь вдруг зашумела, загалдела. «Приехали комедианты!» — закричал кто-то в толпе.

Саша видит: комедиант в одежде, усыпанной блестками, ходит по канату. «Вай! Что у него на ногах?» — недоумевают на балконе. В толпе раздается оглушительный хохот: «Чугунные казаны^[9] у него на ногах!»

Вечером, сидя возле матери у окна, Саша наблюдал за ряжеными, освещающими себе путь факелами. Неумолчно грохотала даул-зурна^[10]. Отделяясь от главного шествия, устремлялись в ворота домов группы ряженных; аляповато размалеванные маски появлялись и на селиновской лестнице. Наталья Карповна приглашала их, по карасубазарскому обычаю,

к столу, и они пили, пели, отплясывали хайтарму^{[\[11\]](#)}, а затем снова высыпали на улицу, размахивая факелами и распевая татарские песни.

Отец

После ярких карасубазарских празднеств бывало трудно возвращаться к симферопольским будням. В течение нескольких дней Саша слонялся по дому, не в силах взяться за какое-либо дело. Но жизнь входила в повседневную колею, и он снова втягивался в круг занятий, становившихся все шире по мере того, как он рос.

«Лет восьми я начал рисовать, — записал он впоследствии в автобиографии, — и люди компетентные находили у меня известные способности и в этой области...»

Саше было девять лет, когда к нему стала ходить учительница, чтобы подготовить его в гимназию. Мальчиков обучали также армянской грамоте. Саша во всем проявлял прилежание.

О своих успехах в учении братья уведомляли отца.

«Милый папа! — писал Леня неровным почерком, испещренным помарками и кляксами. — Я, *слабо* богу, здоров, и все, *славо* богу, здоровы, но очень скучаем за тобой. Прошу тебя, скорей приезжай в Симферополь. Я теперь стал учиться хорошо, постараюсь учиться еще лучше...»

В конце письма ласковый, общительный Леня кланялся всем каховским родственникам с их детьми.

Саша ограничивался поклоном бабушке.

«Милый папа! — писал он каллиграфически по косой линейке. — Я, *слаго* богу, здоров, но только очень скучаю за тобой. Я уже учусь по-русски и по-армянски и скоро напишу тебе письмо по-армянски. Сестры здоровы, кланяются и целуют тебя. Такуш-тетя тоже кланяется вам всем. Приезжай, папа, поскорее к нам. Кланяйся от меня бабушке. Целую тебя и остаюсь твой сын, любящий тебя

Александр Спендиаров».

Человек настойчивый и дальновидный, отец уделял немало внимания занятиям своих сыновей.

Он слыл среди родственников скупцом: отдавая тысячи за имения, он скупился на четвертак извозчику. Но на образование детей, от которого зависело будущее положение их в обществе, он не жалел никаких средств.

Место уже старой и больной Такуш-тети заняла мадемуазель Бюрнан, обучавшая детей французскому и немецкому языкам. Когда Саше исполнилось девять лет, к нему пригласили учительницу музыки. Но уроки игры на фортепьяно продолжались не более полутора лет. Уже довольно

свободно разбираясь в нотах и с младенчества играя по слуху, Саша «не мог побороть в себе нелюбви и даже отвращения к гаммам и экзерсисам»^[12].

Заботясь о всестороннем развитии сыновей, Афанасий Авксентьевич выписывал из Одессы книги, ноты, краски...

Он жил в Каховке, но часто приезжал в Симферополь и все свободное время проводил с детьми. Тотчас же по его приезду в доме устанавливался строгий порядок. Исчезал дух праздности. Чтобы избежать холодных замечаний мужа, Наталья Карповна проводила дни в вязании кружев. Живой как ртуть Леня, которого в отсутствие отца трудно было засадить за приготовление уроков, приносил из гимназии хорошие отметки.

Афанасий Авксентьевич сумел приобщить к делу даже дедушку Карпа Ивановича. Старик, уже много лет живший на покое, стал управляющим лесной конторы зятя.

Трудолюбивый Саша легко подчинялся организующей воле отца. Он увлекался науками и страстно предавался чтению. В 1882 году, одиннадцати лет от роду, прекрасно подготовленный и начитанный, он поступил в первый класс Симферопольской классической гимназии.

В гимназии

Его посадили рядом с неряшливо одетым мальчиком по фамилии Заворотный. Саша почувствовал себя стесненно: широко расположившись на парте, мальчик бесцеремонно разглядывал его круглыми глазами.

На уроке арифметики он стал понукать Сашу: «Что сидишь? Полчаса сидишь, не можешь задачу решить? А ну, решай скорей!» Саша покорно заторопился, и не успел он переписать задачу начисто, как Заворотным уже все было списано.

На следующем уроке арифметики повторилось то же самое. Заметив Сашину простоту и застенчивость, первоклассники стали задирать его. Он был меньше всех ростом и с виду очень хрупок: кто знает, что пришлось бы ему испытать, если бы не защита Лени — грозы и кумира всей гимназии.

Как только раздавался звонок к перемене, Саша сбегал в обсаженный акациями гимназический двор, где повсюду — на заборах, деревьях, площадках, остатках газона — галдели гимназисты в серых тужурках, и, различив среди них черноглазого Леню, устремлялся к нему.

Мальчик становился все более замкнутым. Его тянуло к уединению. Однажды, прохаживаясь по гулкому коридору, он набрел на открытую дверь актового зала. Там было пусто. Саша подошел к роялю. Забыв обо всем на свете, он стал импровизировать. На звуки музыки прибежал один гимназист, потом другой... Десятки гимназистов заполнили зал. Окружив рояль тесным кольцом, они заказывали Саше марши, вальсы, мазурки...

Слух о маленьком музыканте разнесся по всей гимназии. Теперь всюду его встречали приветливо: в классе, на гимназическом дворе, в хоре, куда он был принят с первых дней поступления в гимназию. Те же мальчишки, которые прежде, щелкая его по затылку, мешали ему петь, теперь тянулись к нему со всех сторон, прислушиваясь к чистым интонациям его высокого голоса.

Но это не вызывало у него самодовольства. Его серьезное личико сохраняло выражение задумчивости и даже некоторой отрешенности.

По большим праздникам гимназический хор пел на клиросе симферопольского собора. Ни у кого из Сашиных сверстников не было такого высокого и звонкого голоса. И потому Саша во время архиерейского служения объявлял выход архиерея.

Даже самые завистливые мальчишки полюбили Сашу. С каким восторгом они аплодировали ему на торжественном акте, состоявшемся

после переходных экзаменов! Когда огласили отметки за успехи и поведение, директор приподнял Сашу и объявил на весь зал: «Вот Александр Спендиаров — первый ученик гимназии!»

Первые музицирования

Некоторые из Сашиных почитателей сделали его закадычными друзьями.

Все они были причастны к искусству: Сергей Брунс брал уроки игры на фортепьяно и сочинял стихи. Золотарев играл на скрипке и рисовал. Мурзаев, Аверкиев и Сватош пели в гимназическом хоре.

Собираясь у Саши, мальчики музицировали. К этому времени Спендиаровы переехали в дом с палисадником, на той же Долгоруковской улице. Там была прохладная зала, разделенная аркой на две половины. В первой половине, недалеко от входной двери, стоял рояль.

Репертуар мальчиков был довольно ограничен. Он и не мог быть иным в тогдашнем Симферополе с его убогой музыкальной жизнью. До 1884 года там даже не было кружка любителей. Музыкальные вкусы гимназистов развивались под влиянием занятий в гимназическом хоре и военной музыки.

— Я часто встречал Сашу на симферопольском бульваре, — рассказывал Иоаннес Романович Налбандян, ныне покойный профессор Ленинградской консерватории по классу скрипки. — Стоя около духового оркестра в большой гимназической фуражке, глубоко надвинутой на уши, он внимательно слушал музыку.

В Каховке, где мальчики проводили летние каникулы, музыкальная жизнь и совсем отсутствовала. Единственным развлечением, которое Афанасий Авксентьевич мог доставить сыновьям, были паяцы в ярмарочных балаганах, деревянные куклы и хор арфянок, пробавлявшийся весьма низкопробной музыкой.

Нередко катаясь в лодке по Днепру, Саша слышал песни крестьянок, работавших на приднепровских баштанах, да и заунывное пение слепых лириков привлекало его обращенное к музыке внимание, когда, лениво следуя за Афанасием Авксентьевичем, он пробирался сквозь суету ярмарки.

В репертуар маленьких любителей музыки входили отдельные «нумера» из «Ивана Сусанина», разученные гимназическим хором ко дню коронации, и малоросские песни. Саша аранжировал эти песни для четырехголосного хора, в котором, кроме его друзей-одноклассников, участвовали Ленья с товарищами и старшая сестра Лиза.

Бывало, гудит на улице норд-ост, ударяя в окна голыми ветками

акаций, а в зале на Долгоруковской тепло и горят свечи. Их мерцающий свет падает на группу хористов у рояля и на маленького концертмейстера, устремившего в ноты близорукие глаза.

Вторая половина залы погружена в полумрак. Пристально вглядываясь в него, можно различить на диване мадемуазель Бюрнан в поблескивающих очках и белых рюшах и Наталью Карловну с малютками Женей и Валею у ног. В глубоком кресле полудремлет дедушка Карп Иванович. Его лицо с белыми усами и зачесанными по старой моде височками благодушно. Поодаль — Афанасий Авксентьевич. Он то барабанит пальцами по столу, то тербит концы темной раздвоенной бороды.

Скрипка

На одной из детских рукописей Спендиарова есть надпись:

*«Полька для фортепиано
Сочинение ученика 4-го класса
А. Спендиарова
Посвящается
моему крестному отцу
Виктору Добровольскому».*

Как вспоминает Сергей Федорович Брунс — свидетель гимназических лет композитора, — Добровольский был прозван Сашиным музыкальным восприемником потому, что оказался первым человеком, кто серьезно заговорил с ним о музыке.

Зайдя к Спендиаровым по делу, Добровольский заинтересовался музыкальными способностями подростка и стал в семье частым гостем. Юноша хорошо разбирался в теории: будучи студентом одного из российских университетов, он все свободное время посвящал композиции. Его восхищала Сашина любовь к музыке и бог знает откуда взявшаяся правильность в музыкальных записях.

Саша привязался к своему «крестному отцу». Все обитатели дома с палисадником полюбили юного студента. Что-то праздничное было в его синих глазах и мужественном голосе, когда, аккомпанируя себе на рояле, он пел свою песню о Ермаке:

*За рекой Иртышом,
За высоким шатром
Есть могила совсем забыта...*

Рассказами о композиторах, о симфонических концертах, оперных спектаклях он ввел мальчика в музыкальный мир и обратил его унаследованное от матери тяготение к музыке в сознательное стремление приобщиться к ней.

Саша решил овладеть скрипкой. Ему наняли старого учителя по фамилии Швоба.

«Швоба обучал Сашу игре на скрипке, а Леню — на виолончели, —

рассказывал Сергей Брунс. — Это был маленького роста, неряшливо одетый старичок. У него были узловатые пальцы склеротика, и он так держал скрипку и так играл, как играют на ярмарке. Бедный старик был предметом постоянных шуток и насмешек...»

Научив мальчиков первым приемам игры, Швоба составил для них репертуар: произведения Глинки и итальянских композиторов чередовались здесь с маршами и танцами его собственного сочинения.

Саша занимался с усердием. Его не расхолаживал ни допотопный метод преподавания, ни бессмысленный подбор пьес. Вскоре он перерос своего учителя, и Афанасий Авксентьевич, уверовавший в музыкальные способности сына, пригласил к нему скрипача-профессионала, некоего Поля, который, — как писал Саша Лене, — «берет два рубля за урок, но зато уж Швобе не пара».

Бережно завернув скрипку в сукно и уложив в футляр, Саша возил ее с собой в Каховку, в Карасубазар и даже за границу, куда Спендиаровы нередко ездили всей семьей.

— Родители плохо знали языки, — рассказывала сестра Женя, — поэтому все хлопоты во время этих поездок были на Лене. Он заказывал обеды, брал билеты, заботился о багаже, а Саша шел себе впереди со своей скрипкой.

Саша со скрипкой... Его трудно было представить себе иначе в этот длившийся довольно долго период увлечения скрипкой.

«Встречая меня в передней со скрипкой под подбородком и смычком в руке, — рассказывала его карасубазарская кузина, — Саша нетерпеливо тащил меня в залу, умоляя сыграть с ним только что выученную им пьесу».

За два года обучения он стал лучшим скрипачом в гимназическом оркестре. На гимназических вечерах Саша исполнял соло на скрипке. Его воля, помыслы, интересы были направлены к одной цели: он решил стать скрипачом.

«Очарован твоею красою»

В то же время его всегда тянуло к творчеству. Саша был крайне впечатлителен. Все, что поражало его детское воображение, — будь то жаворонок, поющий в харчевне мазурку из «Ивана Сусанина», или обезьянка, пляшущая ойनावу, — оставалось в его памяти навсегда.

Он приходил в восторг от красоты природы. Столкновение с людской несправедливостью и чужим несчастьем погружало его в глубокую задумчивость. Уединившись в зале, он подолгу импровизировал, придавая своим музыкальным размышлениям форму лирической пьесы или салонного романса.

Он много читал. «Я предался самому яростному чтению», — писал он Лёне 13 декабря 1887 года. «За короткий срок я успел прочесть большую часть сочинений Байрона, Писемского... Диккенса... Я с жадностью набросился на лучшие сочинения Гюго и Кра-шевского...» Увлечение чтением тоже способствовало его творческим устремлениям. «Это было в классе шестом или седьмом, — вспоминал Брунс. — Мы страшно увлекались шиллеровскими «Разбойниками». Я сочинил «Разбойничью песнь», а Саша положил ее на музыку... Тогда же Саша написал песню «Два великана» на лермонтовское стихотворение. Она исполнялась гимназическим хором на каком-то вечере».

Шестнадцати лет, впервые испытав любовное увлечение, Саша написал романс «Очарован твоею красою». (Он был напечатан в Москве в 1891 году.) Саша посвятил этот романс Елизавете Андреевне Арендт — хорошенькой гимназистке с живыми глазами. Расшифровав впоследствии инициалы посвящения, Брунс воскликнул: «Лиза Арендт! Сашина первая любовь! Это не девица была, а ухарь какой-то! Любила студенческую фуражку носить. За нею постоянно волочились студенты».

Открылся ли Саша девушке в своих чувствах? На этот вопрос даже Брунс, самый близкий из его товарищей, не мог дать ответа: «Саша был стыдлив и об увлечениях своих никому не рассказывал. Нас связывало творчество».

Брунс сочинял стихи о любви, Саша писал на них музыку^[13].

На оперном представлении в Одессе

Первыми исполнителями Сашиных романсов были Брунс и Эдуард Мурзаев. В противоположность Саше, навсегда потерявшему в переходном возрасте свой звонкий голос, они сделались обладателями лирических теноров.

По-прежнему в доме на Долгоруковской звучала музыка. Но во второй половине залы было теперь больше слушателей. Кроме тоненьких гимназисток Жени и Вали, сильно располневшей Натальи Карповны и бабушки Татьяны Ивановны, которая занимала кресло уже покойного Карпа Ивановича, там присутствовали спендиаровские родственники и знакомые.

Саша приобрел уже некоторую известность среди своих земляков. «Я еще не был с ним знаком, — рассказывал впоследствии Налбандян, — но уже много слышал о Саше Спендиарове. Среди армян говорили, что он хорошо играет на скрипке, участвует в гимназическом оркестре и аранжирует что-то для гимназического хора».

Репертуар юношей становился более сложным. По воспоминаниям Брунса, они разучивали в то время оперу Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем», популярную тогда в Симферополе благодаря гастролям малороссийской труппы.

Саша исполнял обязанности концертмейстера и дирижера. Горе было тому из участников, кто нечаянно брал фальшивую ноту!

В 1889 году юноша впервые попал в оперный театр. Это было в Одессе.

Весной того же года Леня окончил гимназию. Веселый, радостный, с темным пушком над верхней губой, он уговорил Сашу и Брунса сопровождать его в увеселительной поездке в Одессу. Надо было побывать в знаменитых одесских ресторациях, посетить паноптикум, несомненно отличающийся от симферопольского разнообразием экспонатов, увидеть многоаршинные туманные картины. Одесский оперный сезон уже давно закончился, но какова была радость путешественников, когда, приехав в столицу Таврии, они застали там гастроли труппы русских оперных артистов под дирекцией Черепенникова.

В тот же вечер они были на спектакле. Шла «Аида». Восхищению юношей не было границ, когда, гладко причесанные и подтянутые, они вошли в сверкающий драгоценными люстрами Одесский оперный театр.

Но увертюра прозвучала фальшиво, и Саша поник. Теперь восхищался только Леня, мечтавший о певческой карьере. Прежде всего он влюбился в Амнерис — Смирнову. Не говоря уже о ее густом ровном голосе, она покорила его величественной осанкой и замечательно красивым лицом. А Радамес — господин Михайлов, солист петербургской оперы? Когда он взял высокую ноту, Леня громко ахнул. Саша и Бруне дружно дернули его за полы пиджака. В пылу восторга Леня не обратил внимания на то, что Амонасро — Чернов, бывший опереточный актер, — так дико вращал глазами, что в публике раздалось сдержанное хихиканье и что у госпожи Сонки, исполнявшей партию Аиды, не было ни одной ноты без блеющей вибрации. Его искренне огорчало критическое отношение к спектаклю Саши и Брунса. Обаятельное пение Амнерис и Радамеса увлекло вначале и их, но чем дальше развивалось оперное действие, тем больше они возмущались. Ужасно звучащий оркестр, годный только на ярмарку под качели, и неизвестно откуда набранный, отчаянно фальшививший хор мешали им уловить прелесть музыки Верди.

Окончание гимназии. «Кармен»

Вернувшись в Симферополь, юноши застали там гастроли все той же труппы Черепенникова. Более чем когда-либо Саша стал мечтать о столичных оперных представлениях, о которых ему рассказывал Виктор Добровольский.

Осенью Леня поступил в Московский университет. Он был также принят на вокальное отделение Московской консерватории. «Между лекциями есть много свободных часов, — писал он домой, — и, воспользовавшись этим, я поступил в консерваторию».

Москва казалась Саше такой близкой с тех пор, как его брат поселился в ней!

Обращаясь к отцу с просьбой разрешить ему взять пианино напрокат, Леня писал: «А главное, что на следующий год приедет Саша, который во всяком случае не может, как и я, без пианино...»

По понедельникам Леня бывал в консерватории на вечерах. По субботам играл на виолончели в студенческом оркестре. В ноябре он участвовал в концерте в честь пятидесятилетия музыкальной деятельности Антона Рубинштейна, а в декабре выступал в опере «Фераморс» «в роли какого-то князя», как он сообщил в письме отцу.

Саше было невыразимо тягостно сидеть на «скучных, сухих и однообразных» гимназических уроках, в то время как мысленно он был в Москве, возле Лени. Его интересовали лишь уроки древних языков, на которых восьмиклассники читали нараспев отрывки из «Эдипа царя», и репетиции гимназического оркестра к предстоящему литературно-музыкальному вечеру.

Последний гимназический концерт! Выпускникам, находившимся в приподнятом состоянии духа, он казался не менее торжественным, чем празднование семидесятилетия их гимназии, состоявшееся в 1888 году. Правда, упомянутое празднество было ранней осенью, когда зажигали фейерверк на гимназическом дворе. Но зато программа последнего концерта была неизмеримо интереснее благодаря участию в ней разных жанров искусства.

В первом отделении, например, Саша играл Самозванца в «Сцене у фонтана», а во втором исполнил соло на скрипке «Фантазию-балет» Берио.

Приближалась экзаменационная пора. В разгар цветения акаций, наполнявших комнаты томительным ароматом, Саша не отрывался от

учебников. Он дал слово отцу окончить гимназию с золотой медалью. Но, к огорчению Афанасия Авксентьевича, возлагавшего на сына тщеславные надежды, на экзамене по истории Саше поставили тройку. Он получил серебряную медаль.

Все волнения кончились. Сорвав с фуражек гимназические гербы и расстегнув ворот тужурок, юноши в упоении бродили по улицам. Наступило чудесное время полнейшей свободы. Саша и Сережа предались чтению. «Мы страстно увлеклись поэзией тогда», — вспоминал Брунс.

В конце июня 1890 года Афанасий Авксентьевич и Саша отправились за границу. К великому Сашиному сожалению, Лёне, как студенту, запретили выезд из России. Грустно было смотреть на него, когда он стоял на перроне одесского вокзала с развевающимися на ветру волосами и с таким печальным и добрым лицом.

Высунувшись из вагона, Саша махал ему шляпой...

«После вашего отъезда... поднялась страшная буря и полчаса нельзя было выйти из вокзала, — писал Леня отцу в Карлсбад. — Воображаю, как весело вы проводите время... Я думаю, что Саша вечно торчит возле музыки и продолжает, по своему обыкновению, тебя сердить...»

Путешественники пробыли в Карлсбаде до тех пор, пока Афанасий Авксентьевич, заболевший в этом году диабетом, не окончил курса лечения. Затем они отправились в Вену.

Когда они подъехали к гостинице, щегольски одетый портье ударил в колокол, и тотчас же с низкими поклонами выбежала целая команда служащих.

Шел мелкий дождь. Саша стоял у окна. Вот она, Вена, о которой он столько читал! В туманном воздухе вырисовывались ее узкие дома. Упираясь в сумрачное небо, темнели шпили церквей.

Дождь перестал. За прозрачным облаком появилось солнце. Заблестела вода в Дунайском канале. Отчетливо донеслись звонки конок, ползущих по мосту.

Раздался бой часов на Стефанс-доме.

За несколько дней отец и сын осмотрели все достопримечательности города. Незадолго до отъезда они посетили Главный венский оперный театр. Давали «Кармен».

С первых же звуков оперы Саша почувствовал, что попал в родную ему сферу. «Я был потрясен чудным, полным, сочным звуком оркестра, — записал он позже в автобиографии, — и очарован пряными, экзотическими мелодиями и гармониями оперы».

Ему казалось, что открылись и предельно искренне зазвучали его

чувства, что огненная музыка «Кармен» — это то, что он искал всю жизнь.

«Ошеломленный я вышел из театра, — пишет Спендиаров, — мечтая, как о высшем счастье, услышать когда-нибудь свое произведение в исполнении такого же прекрасного оркестра. Несомненно, что с этого момента во мне зародилась особенная любовь к оркестру и стала укрепляться любовь к экзотическому колориту в музыке».

Спендиаровы вернулись в Симферополь в начала-августа.

В середине месяца Саша вместе с Леной выехал в Москву.

В Москве

21 августа 1890 года

Дорогой папа!

Вот уже четыре дня, как мы в Москве. Дорога была длинная и очень утомительная, так что мы очень обрадовались, когда добрались, наконец, до Москвы...

Прежде всего мы остановились в гостинице «Петергоф» — грязной и далеко не такой роскошной, как «Метрополь», в котором мы останавливались в Вене. Вечером мы отправились на Тверской бульвар, где в тот день как раз играла военная музыка. Нам сказали, что это один из самых лучших оркестров, и действительно, музыка была очень хорошая и очень мало уступала тому военному оркестру, который мы слышали в Вене на выставке. Вчера и сегодня я тоже слушал музыку на бульварах, но она была уже значительно ниже венской.

На следующий день мы отправились в университет, внесли деньги и записались на лекции...»

Не имея особой склонности к какой-либо определенной отрасли науки, Саша решил, по примеру Лени, поступить на естественное отделение физико-математического факультета.

Его тотчас же приняли в студенческий оркестр. Дирижер оркестра, известный композитор-этнограф Николай Семенович Кленовский, состоявший также дирижером Императорской оперы, предложил ему играть первую скрипку на первом пульте.

На репетиции Кленовский подвел Сашу к рыжеволосому студенту с козлиной бородкой и необыкновенно выпуклым лбом.

— Александр Вячеславович, — обратился Николай Семенович к студенту, — разрешите вас познакомить: наш новый скрипач Александр Афанасьевич Спендиаров.

«Видю, подходит ко мне молодой человек, блондинчик со скрипкой, — рассказывал Александр Вячеславович бесовский, ныне покойный профессор Ленинградской консерватории по классу теории. — Учтиво поклонившись, он сел рядом со мной за первый пульт. С этого дня мы подружились. Мы были концертмейстерами попеременно. Технически я был сильнее его, но он импонировал оркестру твердым ритмом и

спокойствием концертмейстера».

Первый в сезоне студенческий концерт, в котором участвовал известный виолончелист А.А. Брандуков, состоялся 14 ноября. На балконе Большой залы Российского благородного собрания столпились Сашины одноклассники, ставшие студентами Московского университета. С гордостью рассматривали они в бинокль концертмейстера первых скрипок — в парадном студенческом мундире и в пенсне, придававшем особенную четкость его строгому профилю,

Симферопольцы присутствовали и в зале Военного собрания, когда Леня и Саша выступали там соло. Леня пел арию из оперы Масканыи «Сельская честь», а Саша играл «Берсез» Симона,

Но настоящим триумфом показалось симферопольцам выступление на концерте, который был дан в зале консерватории. Исполнив под аккомпанемент брата несколько включенных в программу романсов, Лека спел на бис «Очарован твоею красою».

Саша был чрезвычайно доволен своим московским времяпрепровождением. «Здоровье мое в прекрасном состоянии, — писал он отцу, — и, как видно, климат севера отразился на мне с хорошей стороны; живется мне тоже хорошо, время у меня распределено так, что мне нет возможности скучать ни одной минуты; я исправно посещаю лекций, находя в них живой интерес, бываю в опере и в драматическом театре, который по составу своему лучший в России, занимаюсь на скрипке^[14], хожу на репетиции студенческого оркестра, в котором играю первую скрипку... Дирижер студенческого оркестра считает меня одним из лучших скрипачей и часто просит меня показывать другим, как должно играть известное место в пьесе». Жизнь вне семьи не обременила его заботами. Вся тяжесть их легла на Леню — всегда деятельного и терпеливого. Он следил за Сашиным питанием, оберегал его от простуды. «У нас морозы, а Саша ходит в легкой шинеленке, — озабоченно писал он матери. — Я уже кутаю его в башлык».

Отец ежемесячно высылал им порядочную сумму денег, но, делясь с товарищами, Леня с трудом сводил концы с концами.

«Масса денег уходила у мальчиков на товарищей, — вспоминал Брунс, учившийся в то время на юридическом факультете. — Даже золотые часы, подаренные им отцом ко дню окончания гимназии, были постоянно в закладе для товарищей. Жили они в Столешниковом переулке, в доме Никифорова, а я — наискосок в номерах. Помню, у них всегда толклись студенты».

В квартире, где жили Спендиаровы, стоял шум необыкновенный. В

одной из комнат, занимаемой примадонной Большого театра, слышались рулады, распеваемые на верхах, в другой — упражнялись Леня и Мурзаев. Саше тоже приходилось пользоваться всякой свободной минутой для занятий на скрипке. Звуки упражнений — вокальных и скрипичных — смешивались с громкими голосами студентов, южан по преимуществу.

Всей компанией они посещали театры. Билеты приходилось брать самые дешевые, так как, присылая сыновьям деньги «на музыку», Афанасий Авксентьевич не имел в виду их земляков.

«В театре мы сидели больше на галерке, — вспоминал Брунс. — Помню, когда гастролировали у Корта итальянцы, например Котоньи, мы видели только их ноги...»

С галереи Большого театра видны были лишь газовые рожки на низко свисавшей люстре. Отчаявшись рассмотреть оперное действие, Саша закрывал глаза и, опершись на барьер, слушал музыку. «Я наслаждаюсь хорошим пением и превосходным оркестровым исполнением», — писал он отцу.

За короткий срок он пересмотрел все, что ставилось в Большом театре. Преимущественно это были оперы иностранных авторов. Отечественные оперы — «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Демон», «Евгений Онегин» и «Сон на Волге» Аренского — составляли не более четверти всего репертуара.

После спектакля симферопольцы ехали на тройках к «Яру». Они занимали несколько составленных столиков. Сергей Брунс — высокий, стройный, полногубый юноша — провозглашал первый тост. Пили за великих артистов. В то время особенно горячила умы Ермолова. Юноши вспоминали каждую деталь ее игры, обсуждали пьесы с ее участием.

Вместе с весной, отличавшейся от крымской медлительностью, началась лихорадочная подготовка к экзаменам. Саша не принимал в ней участия. Он задумал оставить естественные науки по причине непреодолимого отвращения к анатомическому театру.

Почти все студенты, причастные к музыке, учились на юридическом факультете. Саша решил последовать их примеру. «К твоей радости, Саша думает перейти на юридический факультет», — сообщил Леня отцу 10 апреля 1891 года.

Афанасий Авксентьевич всегда мечтал найти хоть в одном из своих сыновей человека, смыслящего в делах. Он хотел, чтобы Саша стал юристом. Мечта его сбывалась.

Начало занятий композицией

Наступили каникулы. Саша отправился в Симферополь.

Первой, кого он увидел, подъехав к дому, была бабушка Татьяна Ивановна. Опираясь на палку, она прогуливалась вдоль палисадника. Из дома ему навстречу радостно выбежали мать и сестры. Целуя Сашу, они принялись тормошить его. В летней шинели, с аккуратными подстриженными усиками, он выглядел необычно взрослым.

Саша вошел в залу и, подняв крышку старого «Плейеля», взял несколько аккордов. Звук был довольно глух, но мягок и напоминал о чем-то светлом из прошлого.

В атмосфере домашней ласки, вдали от подавлявшей его столичной жизни Сашу снова потянуло к творчеству. Тихие шаги матери, поминутно входившей в залу, не мешали ему.

Вскоре он почувствовал необходимость в музыкальном общении. В Симферополе проводил летние каникулы ученик Санкт-Петербургской консерватории скрипач Иоаннес Романович Налбандян. Саша решил нанести ему визит.

«В студенческой форме Саша пришел ко мне, — рассказывал много позже Иоаннес Романович. — Он мне сразу очень понравился: чудесные золотые волосы, хорошие голубые глаза, нежный овал лица. Пенсне он тогда уже носил.

Я был известен в Симферополе как скрипач. Все эти годы я приезжал из Петербурга и выступал, потому он, верно, пришел ко мне познакомиться.

Представившись, он сел за рояль и стал тихонько импровизировать, рассказывая мне о московской музыкальной жизни, о том, что он учится скрипке у Пекарского. Затем он уселся поудобнее и сыграл свои романсы, напевая тихим «композиторским» голосом. Когда он кончил, я бросился к нему, крепко обнял и сказал, чтоб непременно он был композитором! А он скромно спросил: «А стоит ли?»

С осени потянулись университетские дни, отличавшиеся от прошлогодних только тем, что вместо естественных наук Саша изучал юридические.

От творчества он снова отошел. Лишь изредка, для забавы товарищей, импровизировал марши и танцы. Однажды, играя свой очередной марш, Саша не заметил, как вошел в залу и остановился за его спиной Николай Семенович Кленовский.

Через некоторое время Леня писал отцу: «Саша с первого октября начал брать уроки композиции у прекрасного учителя Кленовского — композитора Императорского театра и нашего дирижера. Он обыкновенно берет со всех по сорок рублей в месяц, но так как он нашел громадные способности у Саши и вообще крупный талант, он взялся учить его за тридцать рублей, может быть, даже он будет брать еще меньше. Я вполне убежден, что ты ничего не будешь иметь против и будешь высылать ежемесячно деньги».

Систематические занятия начались с весеннего полугодия.

Кленовский жил в меблированных комнатах на Тверской. Узкая темная прихожая вела в небольшое помещение с темными обоями и драпировками. Однако мрачная обстановка нисколько не соответствовала внешности и характеру музыканта. Это был подвижной крепыш с красноватым лицом и блестящими глазами.

Саша заставлял его обычно за роялем. Ответив на приветствие, Кленовский тотчас же заговаривал о только что сыгранном произведении, восхищался им, если оно принадлежало перу его любимого творца, и страстно клеймил, если автором его был композитор не импонирующего ему направления.

«Его любимыми композиторами были Вагнер и Делиб, — вспоминал Оссовский, — постоянно можно было видеть их произведения на пюпитре его рояля».

Урок, сопровождаемый музыкальными беседами, длился далеко за положенное время. Чтобы размяться, Кленовский вскакивал с места и делал гимнастические упражнения. Затем он снова углублялся в занятия, равно захватывавшие и учителя и ученика.

«Изучение теории так увлекло меня, что я охладел к скрипке», — пишет Спендиаров в автобиографии.

«Кленовский был очень высокого мнения о способностях Александра Афанасьевича, — рассказывал Оссовский. — Как-то принес я ему свою мазню. Сел он, как сейчас помню, за рояль и, просматривая мое сочинение, сказал: «У меня есть талантливый ученик. Поразительно быстро он все схватывает, и поразительно чистый у него слух». Он вытащил какую-то рукопись Александра Афанасьевича (помню, скрипичная вещь была) и, проигрывая ее, все восторгался: «Какая у него складная форма! Какое гармоническое чутье!»

Кленовскому нравилось отношение Александра Афанасьевича к музыке Римского-Корсакова, уже определившееся в университетские годы^[15]. Сам он учился у Чайковского, но все симпатии его были на

стороне Николая Андреевича и его школы».

Имя петербургского композитора произносили на уроках Кленовского с благоговением. Его произведения, равно как и произведения его учеников, постоянно проигрывали. Любимым пособием Кленовского был «Практический учебник гармонии», написанный Римским-Корсаковым.

Саша взялся за него в том же году. Быстро усвоив элементарную теорию, он приступил к изучению гармонии,

Среди московских друзей. Чайковский.

Теперь ему была необходима тишина. В поисках условий, нужных для Шашиных занятий, братья переезжали с квартиры на квартиру. Наконец они поселились в Романовских номерах, соблазнившись роскошным видом здания, высящегося на Тверском бульваре. Но вскоре им пришлось разочароваться: начиная от прихожей с традиционным чучелом медведя у вешалки и кончая чердачным помещением, дом гудел от голосов постояльцев и хлопанья дверей.

«Александр Афанасьевич занимался музыкой у нас, в Афанасьевском переулке, — рассказывала жена одного из университетских товарищей Спендиарова. — У них дома было очень шумно, а у нас никого, тишина. Помню такой случай: как-то сидел он один и отстукивал карандашом ритм на столе. Вдруг он поднял голову и сказал: «Войдите». Оказывается, свое собственное отстукивание он принял за чей-то стук в дверь...»

«Саша с детства был страшно рассеян, — говорил о товарище Сергей Федорович Брунс. — Он всегда думал о чем-то своем».

Погрузившись в изучение теории, Саша стал еще более рассеянным, что вызывало шутливое и вместе с тем бережное отношение к нему друзей.

Среди этих друзей был уже упомянутый Александр Вячеславович Оссовский. Он ввел Спендиарова в дом своих знакомых Ненарокомовых, где время от времени устраивались квартетные вечера. Исполнялись менуэт из квартета Моцарта, анданте из первого квартета Чайковского, трио Гайдна...

Дружеские отношения связывали Спендиарова и с Сергеем Никифоровичем Василенко — тоже участником студенческого оркестра. «Он (Александр Афанасьевич) играл на скрипке, а я на тромбоне, — пишет Василенко в своих воспоминаниях. — Между этими инструментами дистанция огромного размера, но мы сразу подружились... Усиленно музицируя, мы играли с ним все сонаты для скрипки и фортепьяно Бетховена, Моцарта, Цезаря Франка...»

Ближайшим другом Спендиарова стал виолончелист Антон Осипович Палице. Они вместе выступали на концертах^[16], бывали в театрах,

симфонических собраниях и постоянно посещали вечера, устраиваемые в семье композитора церковной музыки Николая Андреевича Соколова.

«Собиравшиеся у нас ученики консерватории и любители распевали целые сцены из русских и иностранных опер, — рассказывал Иван Николаевич Соколов, в те годы десятилетний мальчик. — Александр Афанасьевич им аккомпанировал. Он всегда всем аккомпанировал. Он так любил музыку, что, когда приходил, тотчас же садился за рояль и просиживал за ним весь вечер.

В памяти моей, словно фотографии, отпечатываются: вот сестра моя Надя — миловидная блондинка веселого нрава, вот распеваящий с нею дуэты Леонид Афанасьевич. На диване, заложив ногу за ногу, — Антон Осипович Палице. За роялем — Александр Афанасьевич. У него нежное и доброе лицо. Он чрезвычайно аккуратен в своем новеньком студенческом мундире.

Несмотря на то, что я был еще мал, он относился ко мне как к равному, с готовностью исполняя мои просьбы. Я его постоянно просил играть прелюдию к его романсу «Очарован твоею красою». Написана она была так просто и в то же время так гармонично и мило.

По-видимому, Антон Осипович и Леонид Афанасьевич высоко ценили талант Александра Афанасьевича. Сбрасывая в передней шинели, они радостно сообщали нам: «Саша сочинил новую вещь, и она еще лучше предыдущей!»

Мы жили в то время в доме Батюшкова, на углу Хлыновского тупика и Никитской улицы. Не раз я видел из окон нашей квартиры Рахманинова и Скрябина, возвращающихся после занятий. Однажды я разглядел в пролетке Чайковского. В сезон 1891/92 года композитор жил в Москве».

Счастливы встречали его на улицах, в магазинах... Одним из таких счастливых оказался Леня. Как-то выбирал он у Бесселя романсы Грига и не заметил, как к нему подошел Чайковский. Петр Ильич спросил:

— Вы любите Грига? — и, получив утвердительный ответ, сказал: — Я тоже очень люблю Грига.

Лёнина встреча обсуждалась в Сашиной компании во всех деталях. Преклоняясь перед личностью Чайковского и горячо любя его музыку, юноши пользовались малейшей возможностью увидеть своего кумира. По свидетельству Брунса, они не пропускали ни одной его репетиции в Благородном собрании. 6 ноября 1891 года там состоялся концерт. Чайковский дирижировал балладой «Воевода», изорванной им в клочки на следующий же день. Не подозревая о буре, происходившей в душе композитора, студенты бросились по окончании его выступления на

эстраду, а затем пробрались за вишневую штору «курильной», чтобы еще раз увидеть Петра Ильича. Он стоял среди друзей с папиросой в руке, мило отвечая на вопросы.

В обществе московских армян

В эти же первые годы своего пребывания в Москве братья Спендиаровы приобщились к армянской культуре.

Среди московских армян вошло в традицию — где бы ни встретились им приезжие соотечественники, пригласить их к себе в дом и постараться заменить семью. Так Спендиаровы стали бывать у Нерсеса Осиповича Нерсесова — профессора торгового права на юридическом факультете.

У Нерсесовых они познакомились и с другими представителями армянской колонии. «Мы бываем на журфиксах у всех московских армян, — писал Леня отцу 25 октября 1891 года, — у профессора Нерсесова, у известного банкира Джемгарова, у доктора медицины Шагинянца^[17], и теперь на журфиксе у Джемгаровых нас пригласили к себе Борджели. Нас везде очень любят, мы играем, поем...»

Музицирование — любимое занятие русской молодежи — было в большой моде и у армян, только, кроме русской и иностранной, здесь исполнялась армянская музыка.

Спендиарбв приобщился к ней в Москве, в семье профессора Нерсесова.

Однажды он застал у них за роялем незнакомого ему еще студента. Это был Сергей Гаврилович Мирзоев — в будущем пианист и теоретик. «Я не знал в то время, что Александр Афанасьевич музыкант, — рассказывал Мирзоев через много лет, — а ведь он уже был тогда скрипачом и учился композиции у Кленовского. Заметив, с каким вниманием он слушает «Баяти» Генария Курганова, и почувствовав, что он страстно любит музыку, я стал настойчиво советовать ему заняться ею. И вы думаете, он возразил мне что-нибудь на это? Он молча вежливо выслушал меня».

Несмотря на постоянные похвалы Кленовского, Саша действительно не считал себя музыкантом-специалистом. О композиторском будущем он не смел и помыслить. Держась незаметно, он без устали всем аккомпанировал, а во время танцев исполнял обязанности тапера, лишь в перерывах позволяя себе импровизировать или искать разрешение сложных аккордов.

После танцев начинались «пти же». В то время этими маленькими играми увлекалась вся московская молодежь, с той разницей, что у Ненарокомовых сражались в «блошки», а у Нерсесовых предпочитали шарады и «фанты». Саша не любил «пти же» и предпочитал ретироваться в

кабинет Нерсеса Осиповича, где заставлял профессора и его коллег. Образы этих удивительных людей на всю жизнь запечатлелись в памяти Спендиарова.

Нерсес Осипович Нерсесов. Высокий, чернобородый, с небольшими глазами, излучающими теплый свет, он, казалось, одним своим присутствием вызывал к жизни благородные чувства.

Профессор теории права Юрий Степанович Гамбаров, в будущем один из основателей Ереванского университета. Его всегда всклокоченная голова, заикающаяся речь и порывистые движения изобличали деятельную и страстную натуру.

Врач Сергей Давыдович Шагинянц. Не раз он рисковал жизнью на эпидемии холеры. На его узком иконописном лице привлекали тихие, серьезные глаза. Они становились пламенными, когда, робко вступив в общую беседу, он заставлял прислушиваться к себе старших коллег.

Григорий Абакумович Джаншиев, «дядя Гриша», как его называла молодежь, — автор книг «Из эпохи великих реформ» и «Братская помощь армянам, пострадавшим в Турции». У него был горб на спине и горб на груди, но его черные глаза сияли такой жизнерадостностью, что стоило ему войти в дом, как всем становилось весело.

Говорили об Армении, ровеснице Ассирии Вавилона, о ее древней культуре и о трагической судьбе ее народа. Все это было для Саши и Лени совершенно ново. Трудиться на пользу народа, веками страдавшего под гнетом иноземцев, пробуждать в нем Духовные силы, помогать его возрождению казалось братьям главным делом их жизни. Саша обрабатывал армянские песни, записанные им у Нерсесовых, и разучивал их с московской, а потом симферопольской армянской молодежью. Юноши изучали вместе армянский язык, читали армянские газеты... «Теперь мы с Сашей такие армяне, что только держись!» — восторженно писал Леня отцу.

Братья

Братья были во многом похожи. Оба унаследовали от матери острое чувство справедливости, сердечную мягкость и полное отсутствие алчности. «Удивительно, как у такого корыстного отца могли быть такие бескорыстные дети!» — воскликнул однажды Брунс, вспоминая прошлое.

Каждое лето мальчики ездили к отцу в Каховку. Желая с детства приучить сыновей к торговому делу, Афанасий Авксентьевич брал их с собой на пристань, на ярмарку. Каким азартом загорались его глаза, когда, любуясь ловкой работой погрузчиков леса, он обсуждал выгодные сделки с такими же, как он, бородатыми лесопромышленниками!

На ярмарке рядом с горами пестрых овощей, возле загонов для волов сидели на земле батраки, прибывшие из отдаленных деревень. Их запыленные лица были изможденные, глаза смотрели устало. Время от времени к ним подъезжали окрестные землевладельцы и, доведя до отчаяния хитроумным торгом, увозили их в свои экономии.

Юношей оскорбляло неравенство, наблюдаемое всюду. Они старались сгладить его мягким обращением со слугами и помощью беднякам, беспрестанно попадавшимся им на пути. Похожие во многом, братья в то же время резко отличались друг от друга. Саша был молчалив и серьезен. Демократические взгляды, которые будут так отличать Александра Афанасьевича от представителей его класса, утверждались в нем основательно. Глубоко засела и мечта, выросшая впоследствии в непоколебимое решение: помочь возрождению культурной жизни Армении.

Леня был не способен вынашивать идеи. Он делился с товарищами едва вспыхнувшими мыслями. Действовал он по первому импульсу. Однажды летом неподалеку от дачи Нерсесовых загорелась деревня. Когда нерсесовская молодежь, и Саша в том числе, прибежала на место пожара, Леня уже вытаскивал из огня вещи погорельцев. Его лицо было осыпано пеплом, рубашка истлела...

Он презирал опасность. На студенческих вечеринках, перекрывая все голоса, он весело пел запрещенные песни. На сходках, все чаще устраиваемых в Московском университете, «шумел» в группе студентов, настроенных особенно бурно.

Однажды, это было в феврале 1892 года, во время многолюдной сходки здание университета оцепила конная полиция^[18]. Студенты в одних

тужурках высыпали во двор. Их тотчас же окружили, отвели в Манеж. Саша долго не мог найти Леню в беспорядочно протестующей толпе и вдруг увидел его веселое беззаботное лицо в группе студентов, издевательски изображающих жандармов.

После того как участники сходки были переписаны и многие из них отпущены по домам, несколько человек и в том числе Леню и его симферопольского товарища Казаринова отвели в Бутырки.

Саша очень болезненно воспринял случившееся. По свидетельству Брунса, он даже слег. Леня же, вскоре вернувшийся домой, не утратил ни жизнерадостности, ни легкомыслия.

Варвара Аполлоновна Эберле

«Как-то послали меня сестры Нерсесовы с запиской к Спендиаровым, — пишет в своих воспоминаниях Мамикон Артемьевич Геворгян. (Будучи подростком, он жил в семье Нерсесовых.) — Спендиаровы занимали две прекрасно обставленные комнаты. Я постучался и вошел. Александр Афанасьевич сидел за роялем в расстегнутой форменной тужурке и что-то наигрывал. Когда я вошел, он круто повернулся ко мне на вертящемся стуле и ласково приветствовал: «А, Макоша, пожалуйста!» Я спросил, нет ли дома Леонида Афанасьевича. Александр Афанасьевич ухмыльнулся и крикнул в соседнюю комнату. «Леня! Это к тебе! Выходи скорее!» Леонид Афанасьевич вышел в застегнутом форменном сюртуке, расфранченный, надушенный. Очевидно, он куда-то собирался. Взяв записку, он взволнованно подошел к свету и стал читать...»

Леня был влюблен в старшую дочь Нерсесовых — Катю. По свидетельству его друзей, Леня всегда был в кого-нибудь влюблен.

Нельзя сказать, чтобы и Сашино воображение не поражала красота женщин. Однажды, залюбовавшись на балу хорошенькой барышней, он, не умея танцевать, пригласил ее на тур вальса. Но любовные увлечения не нарушали до сих пор его душевного равновесия, и это давало ему право подтрунивать над Леной и другими влюбленными сверстниками.

«Мы все были влюблены тогда! — воскликнул Налбандян, рассказывая о лете 1892 года, проведенном им в Симферополе. — Леня вздыхал по Кате, у меня был большой роман с Валею Спендиаровой, у Брунса — с Женей.

Спендиаровы жили в то время на Севастопольской улице в собственном доме. У них был громадный двор, где находилась лесная контора, и большой фруктовый сад. В глубине сада, под развесистыми абрикосами стояли две скамейки. Вечером мы собирались там и дурачились. В семействе Спендиаровых был такой тон: будучи в чудесных между собой отношениях, они постоянно подтрунивали друг над другом.

В доме на Севастопольской постоянно звучала музыка. Мурзаев и Леня пели Сашины романсы, я играл, Саша нам всем аккомпанировал. Как он замечательно аккомпанировал! Наталья Карповна сидела на диване и слушала. В отсутствие Афанасия Авксентьевича она буквально расцветала, особенно когда подле нее был Леня, без конца расточавший ей сыновнюю ласку.

Среди лета Спендиаровы отправились в Севастополь. Они остановились у Кидониса в «Гранд-отеле».! Я приехал позже. Как мы условились, Валя, одетая! в белое платье, ожидала меня на балконе. Помню, шумел прибой, из салона доносились звуки Сашиного вальса...

В этом салоне мы постоянно музицировали. Саша сочинил там «Романс для скрипки» и посвятил его мне, как первому его исполнителю^[19].

Вечером мы гуляли на Приморском бульваре. Все шли «по-людски», по выражению сестер Спендиаровых, а Саша «не по-людски», непременно наткнется на кого-нибудь, зацепится... Что же касается Лени, он, как всегда, был душой общества».

Бедняга не знал в то время, что он и Казаринов исключены из Московского университета. Известие это вызвало целую бурю в его душе. «Мысль о том, что двери университета закроются для меня навсегда, — писал он из Москвы 18 октября 1892 года, — бросала меня в жар, и я не допускал такой несправедливости со стороны судьбы. Я только утешался тем, что все, что ни делается, то к лучшему. Как оно и оказалось...»

Оба студента были приняты в Дерптский университет.

«Относительно Саши ты можешь не беспокоиться, — писал Леня в том же письме отцу. — Я его прекрасно устроил в Москве, нашел ему няньку в лице Ермакова^[20], который будет смотреть за ним, как за братом, так как он нас любит, как братьев. Он прекрасный, честный малый и пользуется всеобщей любовью. Все, так сказать, хозяйство на его руках, и Саше будет с ним так же хорошо, как со мной...»

Первое время Саша ужасно тосковал. Быть может, он бы перевелся вслед за братом в Дерпт, если бы не встреча, происшедшая у него в доме «Братолюбивого общества», на квартире Мельгуновых, где он поселился вместе с Ермаковым.

Одну из комнат занимала дочь воронежского помещика Эберле, приехавшая в Москву учиться пению. Звали ее Варвара Аполлоновна.

Как пишет в своих воспоминаниях ее подруга, Т.Л. Щепкина-Куперник, это была «высокая стройная девушка с зелеными глазами и темно-рыжими волосами цвета спелого каштана, освещенного закатом». Ее вторая подруга, Мария Павловна Чехова, вспомнив о ней, ласково улыбнулась: «Ну и нелепая же была Варя! Всегда нуждалась... а веселая! Смеялась безудержным, захлебывающимся смехом...»

Когда у Варвары Аполлоновны собирались гости, а это бывало очень часто, она садилась на ковер и пела русские песни, аккомпанируя себе на

балалайке. У нее был негромкий, но красивый и задушевный голос. Впоследствии она пела в опере Мамонтова вместе с Шаляпиным. Саша с наслаждением разучивал с нею заданные ее педагогом пьесы. Она пела и его романсы. Они ей очень нравились. «Неужели у Вас пропадет искра божия, когда Вы пройдете теорию, гармонию и другие страшные вещи?» — спрашивала она его как-то в письме.

Варвара Аполлоновна была всего несколькими годами старше Саши, но относилась к нему, как к подростку: ласково и вместе с тем покровительственно.

Особенно она подчеркивала его молодость на людях. Девушка даже кокетничала покровительственным к нему отношением. Сашу это страшно смущало. Он и без того робел в обществе ее друзей, так отличавшихся от привычной ему молодежи.

Это были представители мира писательского, художественного и театрального. Из «пти же» они признавали только «литературные состязания», танцами же почти не увлекались. Расположившись в креслах, полулежа на диванах или усевшись группами на ковре, они большую часть вечера проводили в беседе.

Их разговоры отличались от горячих споров учеников консерватории, страстно ратовавших за господство отечественной музыки. С одинаковой непринужденностью и некоторой фамильярностью они обсуждали игру Сары Бернар и Сумбатова-Южина, весенние салоны в Париже и московские картинные выставки.

Казалось, вся современная артистическая жизнь отражалась в их беседах. Саша с интересом к ним прислушивался. Он постепенно привык к этим эмансипированным барышням с кокетливыми челками и подчеркнутыми турнюром осиными талиями, к этим молодым людям, разговаривающим в нарочито небрежном тоне.

Они любили острить, и предметом их шуток часто оказывался Саша, так же как и другие поклонники Варвары Аполлоновны. Сначала он относился к этому добродушно, но когда его чистая привязанность омрачилась ревностью, самая безобидная шутка усугубляла его страдания.

«Из Москвы нет никаких известий», — взволнованно писал Леня отцу. Саша не отвечал на письма, Его внимание было приковано к Варваре Аполлоновне, к каждому слову, обращенному к ней другими мужчинами. Самые светлые, исполненные весенней радости мгновения были отравлены для него ревностью. «Я вспоминаю о том, — писал он Варваре Аполлоновне спустя год, когда время излечило его недуг и в памяти остались лишь отрадные воспоминания, — как мы с Вами ходили к

заутрене, как разговлялись потом у Кувшинниковых, как я дулся на Вас за то, что с Левитаном Вы похристосовались два раза, а со мною раз...»

Один за другим возникали его новые романсы, Варвара Аполлоновна пела их с чувством, возбуждавшим в нем смелые надежды. Но едва он приступал к объяснениям — она начинала подшучивать над ним.

Между тем наступили и минули напряженные дни экзаменов. Саша перешел на пятый семестр. Но его здоровье и душевное состояние вызывали у Ермакова серьезные опасения. Он был страшно худ...

Однажды, незадолго до отъезда Варвары Аполлоновны в деревню, у нее собрались гости. Среди них был некто Стахович — высокий усатый молодой человек с испытующим взглядом выпуклых глаз. Сначала все шло спокойно, но перед самым разъездом гостей наступило неизбежное разрешение Сашиных страданий. Показалось ли ему или так было на самом деле, но в этот вечер Варвара Аполлоновна вела себя с ним особенно покровительственно. При этом она открыто кокетничала со Стаховичем. Саша вскочил. Присутствующие обомлели, пораженные метаморфозой, происшедшей с этим всегда таким кротким юношей. Он подошел вплотную к Стаховичу. Где-то раздался сдержанный смех, вызванный, как ему представилось, разницей в их росте. Он ринулся на соперника, но вдруг увидел в его руках трость. Страх быть избитым этим иронически улыбающимся барином остановил его. Он стал сокрушать все вокруг... Потом потерял сознание ^[21].

В Петербург, к Римскому-Корсакову!

«Наконец-то, дорогая Варвара Аполлоновна, я на родном юге, в своем семейном кругу, и тяжелое время экзаменов, нервных припадков, физических и нравственных потрясений мне кажется уже далеким прошлым, и я стараюсь не вспоминать о нем. Но ведь не все же я страдал: страдания начались лишь в последние месяцы моего пребывания в Москве, а до этого я испытал много хорошего, отрадного; подле Вас мне было так же хорошо, как и здесь, в кругу моих сестер и матери; бывало и лучше. Вы не только возбудили во мне чувства искренней дружбы и привязанности к Вам, Вы служили источником моего вдохновения, наталкивали меня на новые произведения... Едва я только приехал в Симферополь, как почувствовал прилив нового вдохновения и сочинил романс, который я уже давно задумал, на чудные слова П. Козлова. Этот романс я посвящаю Вам, если только не надоели Вам мои посвящения; но что ж делать: опять-таки посвящаю «той, которая вдохновила меня...»^[22].

«Благодарю Вас, дорогая Варвара Аполлоновна, что Вы не заставили меня долго ждать ответа, — писал Спендиаров в следующем письме. — Чтобы снова не предаваться «чувствительным излияниям», которых я тщательно избегал в первом письме, не стану описывать того восторга, с которым я прочел Ваше письмо; скажу только одно: я знаю его наизусть с начала до конца...»

«Вот уже месяц прошел с тех пор, как я послал Вам письмо и ноты... — отчаивался он в третьем послании. — В течение трех недель я каждый день с нетерпением ждал от Вас ответа, но тщетно...»

Он сочинил еще меланхолическую «Берсез» («Колыбельную») для скрипки, и вдохновение оставило его. Пугаясь овладевшей им опустошенности, он стал искать забвенья в скитаниях.

«Саша был страшно нервозен в то лето, — вспоминал сопровождавший его в Евпаторию Налбандян. — Он не открывал мне своих чувств, но можно было судить о них — по безудержной словоохотливости, всегда появлявшейся у него в минуты крайнего возбуждения.

Говорил он о композиторах: о Римском-Корсакове и о Чайковском. Помню его утром около умывальника, жестикулирующим намыленными руками. Бывало, не дождешься своей очереди умыться.

В Евпатории мы дали концерт, на котором впервые исполнялись

«Романс для скрипки» и «Берсез». После концерта был ужин с татарской музыкой. Я заставлял Сашу так много пить, что он спрятался от меня в какой-то ящик».

С тех пор пошли кутежи за кутежами. Желая избавиться от царившей в нем сумятицы, Саша покорно следовал за своим бесшабашным другом. Но вскоре ему стал претить грохот «талалы»^[23] и вид забулдыг, доходивших в своем разгуле до такой степени отупения, что музыканты доигрывали пляски, засовывая кончик зурны им в ухо и ударяя бубном по темени.

Его потянуло к тишине, к покинутому им музыкальному уединению. Он укрылся во «флигеле мальчиков», и, успокаивая близких, оттуда стало доноситься тихое, сипловатое, задумчивое пение — верный признак начала выздоровления и вновь завязавшихся музыкальных дум.

В те дни Сашино воображение занимали армянские песни, подслушанные им у московских армян. Он обработал их для военного оркестра, и вскоре на симферопольских тумбах запестрели афиши, оповещавшие о

*Грандиозном гулянье,
Во время которого оркестром 13-й
артиллерийской бригады
исполнен будет
«Марш-фантазия»
из армянских мотивов -
сочинение
местного молодого композитора
г. Спендиарова.*

Вернувшись в Москву, он поселился в скромном домике на Малой Бронной, где сочинил немало инструментальных пьес и в том числе «Романс для виолончели», принесший ему первый отзыв в столичной прессе.

Любовная лирика отсутствовала в его новых сочинениях. «Я не пишу теперь страстных романсов; вроде «Нет вопросов», моя муза носит более мирный характер», — писал он Варваре Аполлоновне, обучавшейся пению в Париже.

Он рассказывал ей о своих музыкальных впечатлениях^[24], о ходе занятий композицией. «Я кончил курс гармонии и приступил к изучению очень сложного контрапункта», — сообщил он ей 10 марта 1894 года.

В его письмах уже не было любовного трепета. Юношу охватили

другие чувства. Николай Семенович Кленовский намеревался переехать в Тифлис. Необходимо было подумать о новом педагоге. Любимым композитором Спендиарова был Римский-Корсаков, Естественно, возникала мысль: в Петербург, к Римскому-Корсакову!

Летом, проездом в Алушту, Кленовский провел несколько дней в Симферополе. Сидя с Сашей за роялем или в абрикосовом саду у дома на Севастопольской, Николай Семенович старался внушить ему веру в себя, в свое право предстать перед великим композитором.

Саша все больше времени уделял музыкальному творчеству. Он работал лихорадочно: сочинял новые вещи, отшлифовывал старые. В те дни появился на свет его романс «К розе».

Это было в декабре 1894 года. После длительного перерыва, вызванного смертью Нерсеса Осиповича Нерсесова, у вдовы профессора собрались гости. «Среди них были поэт А.И. Цатурян и Александр Афанасьевич Спендиаров, — пишет в своих воспоминаниях Мамикон Артемьевич Геворгян. — Александр Афанасьевич по обыкновению исполнял свои обязанности: то есть сидел за роялем, аккомпанируя пению и играя европейские и кавказские танцы...»

Он оторвался от музыки лишь на время, когда, окруженный нерсесовской молодежью, поэт читал свое лирическое стихотворение «К розе». Молодой музыкант был взволнован. Порывисто вскочив с места, он подбежал к Цатуряну и «стал пожимать и трясти его руки».

«На следующий журфикс он пришел с готовым романсом, который вам всем так хорошо известен, — пишет далее Мамикон Артемьевич. — Он сам его торжественно сыграл на рояле. Мы все были в восторге от музыки...»

Прошла еще неделя. На следующем журфиксе у Нерсесовых новорожденный романс «К розе» прозвучал в исполнении баритона С. Евлахова.

«Успех был неописуемый, — вспоминает старый знакомый Спендиарова. — Все были в восторженном настроении. Все почувствовали, что в армянское музыкальное искусство вносится ценный вклад и что в армянскую музыкальную семью вступает новый композитор...»

Айвазовский и его внучка

Саша аранжировал романс «К розе» для баритона с сопровождением хора и тотчас же приступил к его разучиванию. С каждым днем увеличивался приток участников в его маленький любительский хор. Соревнуясь в приветливости и гостеприимстве, устраивали у себя спевки то одни, то другие представители армянской колонии. «Репетиции носили семейный характер, — рассказывала одна из участниц хора. — Нам подтягивали папы, мамы, дедушки, бабушки и даже маленькие дети, поднимавшие плач, когда няньки уводили их спать».

31 января 1895 года хор любителей под управлением А.А. Спендиарова выступил в Охотничьем клубе. Кроме романса «К розе», он исполнил несколько армянских песен, записанных и обработанных Спендиаровым. В марте того же года Сашу привлекли к участию в концерте памяти поэтов Мейя и Ждановской, и он написал романс «Не знаю отчего» на слова Мейя. В апреле ему пришлось прервать свою музыкальную деятельность — начались зачеты за восьмое и последнее полугодие. Окончив в мае курс юридических наук, Саша отложил сдачу государственных экзаменов до следующей весны и отправился в Симферополь, а оттуда выехал через некоторое время в Феодосию, чтобы участвовать в благотворительных концертах.

Приехав в Феодосию вечером, он тотчас же отправился к Айвазовскому. Художник принимал гостей только на склоне дня, когда в его мастерской, выходявшей окном во двор, не хватало дневного света. В остальное время он работал, не теряя попусту ни одного мгновения. «Это был счастливейший в мире человек, — рассказывала о нем В.Л. Спендиарова. — Он был всегда в приподнятом настроении. Стоит себе в черном бархатном халате на лесенке, приставленной к мольберту, и, весело напевая, пишет».

В часы отдыха Иван Константинович любил играть на скрипке. «А... молодой Моцарт!» — радостно приветствовал он Сашу, когда тот вошел в залу. Пользуясь скрипкой, как кьяманчой^[25], художник играл татарский напев. Саша тотчас же уселся к роялю и подобрал аккомпанемент.

Второй из феодосийских благотворительных концертов состоялся в конце августа.

«К сожалению, я не помню, что именно играл Александр Афанасьевич, — рассказывала присутствовавшая тогда на концерте В. Л.

Спендиарова. — олько как сейчас вижу на сцене молодого человека большого роста, с пышной, светлой, как лен, шевелюрой и в студенческом мундире с золотыми пуговицами».

К антракте Саша вышел в фойе. Взгляд его привлекла девушка удивительной красоты в светло-сиреновом кисейном платье. Вместе с дамами-патронессами, среди которых была супруга Айвазовского, она, сидя за столиком, продавала программы.

Саша подошел ближе. Темные волосы девушки были собраны узлом на затылке. У нее были ярко-черные глаза и необыкновенно тонкая талия. Анна Никитична Айвазовская представила ей Сашу. Девушка оказалась дочерью Леонида Егоровича Мазирова — племянника Айвазовского.

«Помню, он сначала ходил вокруг меня, — рассказывала Варвара Леонидовна, — то с одной стороны подойдет, то с другой... После того как Анна Никитична познакомила нас, он уже не отходил от меня весь вечер...

Я остановилась у теток, в их большом доме на Карантинной улице. На следующий день Александр Афанасьевич пришел к нам с визитом, продолжавшимся целый день, потому что целый день мы музицировали. Время прошло незаметно: он играл на скрипке, я пела, тетки нам аккомпанировали. Александр Афанасьевич заинтересовался старинными крымскими песнями и плясками, которые играла одна из моих теток. Он пошел в соседнюю комнату и стал их записывать. Затем воспроизвел записанное на скрипке, на рояле... Если не ошибаюсь, это были песни и пляски, вошедшие впоследствии в «Крымские! эскизы».

Он собирался уехать на следующий день, но остался. Я почувствовала, что он сильно увлекся мною».

Саша вернулся в Симферополь неузнаваемо оживленный. За обедом он сперва все молчал, опустив голову, но когда Наталья Карповна спросила его о здоровье Ивана Константиновича Айвазовского, он окинул присутствующих таким взглядом, будто готовился сделать признание. Мать повторила вопрос. И вдруг, захлебываясь от переполнявших его чувств он заговорил о внучке Айвазовского, о ее красоте и благородстве, голосе... Всеобщее внимание было страшно напряжено. Валя и Женя подавали друг другу таинственные знаки. Наконец, когда стало ясно, что Саша собирается жениться, он сказал торжественно, оглядев всех блестящими глазами. «И вот я решил, что на ней должен жениться... Леня!»

Все были потрясены. Каждому хотелось спросить: «А как же ты?» Но его лицо приняло такое непроницаемое выражение, что никто не решился произнести этих слов.

В уединении

«Флигель мальчиков», где братья жили во время своих приездов в Симферополь, состоял из двух просторных комнат. В одной из них помещалась спальня, в другой, которую называли «библиотека», стояли черные книжные шкафы, ореховый диван, обитый коричневым плюшем, и такие же кресла. У окна, выходящего в фруктовый сад, находился рояль.

Оставшись на зиму в Симферополе, Саша нашел здесь желанное уединение. Ничто, кроме гудения керосиновой лампы и воя ветра в трубе, не нарушало необходимой ему тишины. Мир и покой царили и в большом доме: пошумев некоторое время по поводу решения Жени выйти замуж за Брунса, Афанасий Авксентьевич уехал в Каховку.

Во флигеле было тепло — неперемное условие для Сашиних успешных занятий. Подготовку к государственным экзаменам он чередовал с сочинением, инструментальных пьес, обработкой записанных в Феодосии татарских напевов и шлифовкой некоторых ранних своих произведений. Все это по окончании университета Спендиаров решил представить на суд Римского-Корсакова^[26].

О встрече с Варварой Леонидовной он уже больше не говорил. На память о ней сохранилось лишь письмо одной из ее теток, написанное 23 сентября, когда Варя еще была в Феодосии.

«Примите нашу искреннюю благодарность, — пи сала Джульетта Егоровна Мазирова, — за любезное письмо и ноты. Удивительно, что Вы еще юным гимназистом писали такие чудные вещи. Племянница тотчас же разучила романс и теперь поет его очень мило... Вы не можете себе представить, до чего Вы нас избаловали своим обществом и музыкой за эти три дня; первое время нам чего-то недоставало, а звуки Вашего скрипичного романса до сих пор напеваются по целым дням...»

После «тех трех дней» произошло немало перемен. Как Саша и ожидал, встретившись в Петербурге во время воскресной службы в армянской церкви, Варвара Леонидовна и Леня увлеклись друг другом и в скором времени были помолвлены.

В феврале Саша выехал в Москву. «Бесконечно рад, что Саша выдержал трудные экзамены, — писал Леня отцу 12 апреля 1896 года. — Мне сообщили из Москвы, что он страшно зубрит и никуда не выходит. Дай бог, чтобы он хорошо окончил...»

Но на последнем экзамене Саша провалился. Это было ударом не

только для Афанасия Авксентьевича, но и для «будущего присяжного поверенного», мечтавшего с окончанием университета расквитаться и с юридическими науками.

Сдача государственных экзаменов откладывалась на целый год. Мог ли он связывать с нею долгожданную встречу с Римским-Корсаковым? Решение пришло неожиданно и бесповоротно. Не дав себе отдохнуть и успокоиться, ни с кем не посоветовавшись и даже не простившись, Саша в том же месяце отправился в Петербург.

Мечта осуществилась

В день его приезда лил дождь. Блестело все: мостовые, кузова пролетов, тротуары, зонтики. Нева и строения на ее берегах были окутаны серым туманом.

Оставив вещи у сестры Лизы, Саша в то же утро отправился к Иоаннесу Романовичу Налбандяну.

«Он явился ко мне без всякого предупреждения, — рассказывал через много лет Иоаннес Романович. — Волновался он, помню, ужасно. Он спросил меня: «Знаком ли ты с Римским-Корсаковым?» — Да как же я мог быть незнаком с ним, если я уже преподавал в то время в консерватории! — «Не можешь ли ты узнать... Умоляю, поговори с ним... Я хочу у него учиться!»

Я встретился с Римским-Корсаковым на следующий же день. Это было в консерватории, на третьем этаже. Обыкновенно в перерывах между занятиями Римский-Корсаков, Лядов, Лавровский и Глазунов пили чай в кабинете инспектора консерватории Абрамычева.

Я передал Николаю Андреевичу Сашину просьбу. «Приехал очень талантливый юноша, — сказал я ему. — Он жаждет, чтобы вы его выслушали, жаждет брать у вас уроки!» Римский-Корсаков к словам моим отнесся весьма благосклонно.

Он назначил день и час, и вот мы поехали. Помню, это было днем. Николай Андреевич вышел к нам в переднюю. Надо было видеть Сашино лицо, когда он подходил к нему! Столько благоговения! Я любовался тем, что он мог так чувствовать...»

«Мечты мои осуществились, — пишет Спендиаров в своей автобиографии. — В большом волнении в апреле 1896 года я предстал перед Николаем Андреевичем с кипой моих работ...»

Композитор ввел его в гостиную, где имел обыкновение заниматься с учениками. Там пахло лавром от недавно поднесенных венков и сиренью — любимыми цветами Николая Андреевича. Над роялем, возле которого они уселись, висели портреты Глинки, Гайдна, Бетховена...

Обросшее седеющей бородой лицо Римского-Корсакова с бледными скулами и еле различимыми сквозь стекла очков глазами казалось суровым и недоступным. Терпеливо выслушав порывистые речи молодого Спендиарова, он предложил ему оставить свои работы для просмотра.

В последующие дни Саша пережил все муки ожидания. Как было

условлено с композитором, он пришел за ответом 10 мая. Николая Андреевича не оказалось дома. Спендиарову передали визитную карточку, исписанную мелким неразборчивым почерком: «Николай Андреевич Римский-Корсаков, — прочел он на карточке, — просмотрев сочинения г-на Спендиарова, пришел к заключению, что у него есть несомненные способности и стремление к правильности и что заниматься ему следует непременно. Конечные результаты предсказывать всегда опасно, но все данные для серьезных занятий композицией есть. Он очень извиняется, что не может быть дома, так как должен был уехать для осмотра дачи».

Тут же в передней со Спендиаровым произошла метаморфоза. Всегда крайне скромный, не терпящий похвал, он вдруг почувствовал неудержимое желание говорить о себе, о полученном им праве всецело отдаться творчеству.

Он побежал к Налбандяну, к родственникам.

«Николай Андреевич признал у меня наличие всех данных для посвящения себя самым серьезным занятиям композицией, — записал он впоследствии в автобиографии, — и выразил согласие стать моим учителем. Великую радость и несказанное удовлетворение испытал я и только с тех пор уверовал в свои силы...»

Саша задержался в столице до середины июня. Часами бродил он с Налбандяном по набережной, возбужденно говоря о музыке. «Они заходили и к нам с Женей, — рассказывал Брунс. — Мы жили то время на Невском, недалеко от Гостиного двора. Помню, белые ночи были... Они играли «Чаконну» Баха и скрипичный концерт Мендельсона. Окно нашей гостиной выходило в таинственно освещенный сад. Не зажигая лампы, они музицировали до утра...»

У Мазировых и Меликенцовых

Леня был счастлив. Готовый для брата на любое испытание, он принял и его жертву легко и беззаботно. «Мы с Сашей очень любим друг друга, — не раз говорил он Варваре Леонидовне, — поэтому моя семья будет его семьей. Саша уже давно решил никогда не жениться и даже отказаться от наследства в пользу моих детей».

Но от внимания Варвары Леонидовны не ускользнуло, что Саше было нелегко. «Как-то, возвращаясь с прогулки, мы встретили на улице Александра Афанасьевича, — рассказывала она впоследствии дочери. — Он шел грустный и подавленный, а поравнявшись с нами, не успел изменить выражения лица».

Мазировы жили в доме на Кузнечной, со швейцаром в вестибюле и чучелом медведя, державшим в лапах блюдо для визитных карточек. В те памятные дни перед Вариной свадьбой у них постоянно собирались гости. Приходили братья Спендиаровы, их сестры с мужьями и родственники Мазировых Меликенцовы, проживавшие в том же доме и на той же площадке.

По своей всегдашней привычке Саша проводил вечера за роялем. Он отрывался от рояля лишь для того, чтобы обсудить с Леонидом Егоровичем Мазировым известия о резне армян в Турции, вспыхнувшей в 1896 году с особенной силой.

Постепенно в большую гостиную стекалась вся молодежь. «Мы пели «Зейтунский марш» и другие армянские песни, — рассказывала дочь Меликенцовых Варя, в то время девочка девяти лет. — Леонид Афанасьевич исполнял вещи Александра Афанасьевича. С каким чувством он пел «Такая ж ночь» и «Не знаю отчего»! Вообще Леня был прелестный молодой человек. А как детей любил! Помню, возясь — с нами, он защищал рукой правое ухо, всегда побаливавшее у него после перенесенного воспаления».

Иногда молодежь перекочевывала в соседнюю квартиру, к Александру Герасимовичу Меликенцову — старому любителю пения. Он принимал участие в музыкальных вечерах у Д.В. Стасова и Л.И. Шестаковой и пел в русских операх, исполняемых под рояль на «утрах» у Молас. Пропитанный, так же как и сын его Жорж, духом музыкального Петербурга, он горячо одобрял тяготение нового ученика Римского-Корсакова к русской школе.

Свадьба Леонида Афанасьевича и Варвары Леонидовны состоялась 1 сентября.

«После венца, — вспоминала Варвара Леонидовна, — принимая поздравления Александра Афанасьевича, я увидела отчаяние в его глазах. Весь вечер он держался отдельно и был печален. Но особенно остро я почувствовала его трагедию на вокзале, когда вместе с другими родственниками и знакомыми он провожал нас в свадебное путешествие».

Среди петербургских музыкантов

Той же осенью молодые уехали в Вену, где Леня должен был защищать диссертацию^[27].

Сашины занятия теорией композиции начались в сентябре. Обычно он занимался у Римского-Корсакова по вторникам, а в остальные дни трудился над выполнением его заданий.

«Николай Андреевич не любил вести учеников на помочах, — рассказывал А.В. Оссовский, поступивший в класс Римского-Корсакова за год до переезда Спендиарова в Петербург. — «Вот вы музыкант, — говорил он, — слух у вас хороший, извольте-ка разбираться сами».

Александр Афанасьевич был трудолюбив. От природы педантичный и добросовестный, он предъявлял к себе высокие требования и в короткое время достиг значительных результатов».

Однажды Николай Андреевич сообщил Спендиарову, что им интересуется ученик консерватории Оссовский. «Александр Вячеславович!» — воскликнул Спендиаров. В тот же день он был у своего друга.

«Когда Александр Афанасьевич пришел ко мне, — рассказывал впоследствии Оссовский, — я передал ему разговор, состоявшийся на одной из «корсаковских сред»:

— У меня есть талантливый частный ученик, — сказал мне Николай Андреевич, — я им очень доволен...

— Как фамилия? — заинтересовался я.

— Спендиаров.

— Александр?

У нас установились с Александром Афанасьевичем прежние дружеские отношения. Спендиаров всегда приносил мне свои новые пьесы и заданные Николаем Андреевичем теоретические работы.

Быстро пройдя полифонию, он добрался до форм. Однажды он принес мне заданную ему Николаем Андреевичем для анализа «Патетическую сонату» Бетховена. Как вошел, все повторял: «Какая прелесть «Патетическая соната»!» — «А разве ты прежде не знал ее?» — «Знал, но не анализировал!»

Он сел за рояль и долго с восторгом играл...

В ту пору Александр Афанасьевич жил у моих родственников на Стремянной. Не раз, придя к ним в гости, я заставал его за сочинением

музыки. Он писал медленно, стараясь воплотить свое гармоническое представление с предельной точностью. В поисках необходимого расположения аккордов он играл одно и то же место по несколько раз, добиваясь совершенной прозрачности звучания.

Николай Андреевич явно благоволил к нему...»

Вскоре он познакомил его со своими старшими учениками, известными Спендиарову по их произведениям.

«Экая махина!» — воскликнул однажды Николай Семенович Кленовский, придя в восторг от симфонической картины Глазунова «Кремль». Теперь и сам автор «Кремля» производил на Сашу впечатление «машины». Огромный, грузный, с вялыми, опущенными чертами лица и мрачным выражением небольших карих глаз, он, не выпуская изо рта сигару, неприветливо разглядывал миниатюрного и робкого Александра Афанасьевича. Спендиаров чувствовал себя неловко в его присутствии. Совсем иные ощущения вызывал у него Анатолий Константинович Лядов. Что-то деликатное и вместе с тем решительное привлекало в нем Спендиарова. Он слышал о Лядове как о человеке скрытном и нелюдимом, но это не мешало ему останавливать на лице Анатолия Константиновича долгий доверчивый взгляд.

В том же первом году занятий с Римским-Корсаковым Спендиаров познакомился с петербургскими музыкантами младшего поколения. Они собирались у Александра Михайловича Миклашевского — ученика Лядова.

Приходили Налбандян, которому Александр Михайлович аккомпанировал на концертах, Оссовский, Николай Николаевич Черепнин — веселый многоречивый молодой композитор с вздернутым, словно налепленным гуммозой, кончиком носа — и Николай Николаевич Аmani — худой длиннолицый юноша.

Вечер начинался с музыки.

«Мы проигрывали друг другу свои новые сочинения, — рассказывал Миклашевский. — Помню, Александру Афанасьевичу чрезвычайно понравилась одна из моих прелюдий, и он все просил ее повторить.

Мы любили слушать игру Амани. У него были удивительно нежные фортепьянные пьесы, и играл в их так поэтически. Юноша был болезненно самолюбив. Мы знали, что он беден, одинок, живет впроголодь в чердачном помещении, но боялись обидеть предложением помощи. Помню, он пел тихим-тихим голосом: «О боже, как хорош прохладный вечер мая!...»

Все мы были поклонниками музыки Александра Афанасьевича. Писал он в то время немного, так как был занят подготовкой к государственным

экзаменам, но все, что он сочинял, было, изящно и гармонично. Например, «Менуэт», «Старинный танец» и «Канцонетта» для скрипки, написанная специально для Налбандяна и появившаяся на свет здесь, на Лиговке.

После музицирования мы располагались в глубоких креслах и на громадном диване, прозванном «самосон». Начиналась беседа. В те годы мы увлекались теорией. Помню, Александра Афанасьевича заинтересовало мое исследование хроматической гаммы. Обыкновенно в теоретических спорах мы прибегали к авторитету маститых композиторов. Исчерпав словесные доказательства, Александр Афанасьевич, удивлявший нас выдающейся музыкальной памятью, садился за рояль и играл отрывки из опер Римского-Корсакова.

Иногда мы безудержно веселились, причем в шутках особенно изощрялся Николай Николаевич Черепнин — человек необыкновенно общительный и остроумный. Помню, как Александра Афанасьевича смешили наши остроты. Вообще я его не улыбающимся представить себе не могу. Он всегда так мило-мило улыбался.

Немало доставалось от нас господам критикам — хулителям произведений композиторов «русской школы». Был такой композитор и критик Михаил Иванов — отвратительный человек!

Однажды он сказал мне: «Сыграйте мою вещь, и я напишу о вас в газете». Чего только мы не придумывали про него! Он написал оперу «Горе от ума», а мы назвали ее «Горе от Иванова». Его оперу «Потемкинский проезд» мы прозвали «Проезд впотьмах», «Забава Путятишна» — «Забава пустяшная». Острили мы и по адресу почитаемых музыкантов. Кто-то из нас составил шараду: «Глазу нов уху дик».

Александр Афанасьевич был тоже предметом наших шуток. Бывало, придет к нам восторженный. В передней, не раздеваясь, говорит: «Я на минутку...» Мы его просим: «Разденьтесь, Александр Афанасьевич, посидите с нами!» Он машет руками: «Что вы, я тороплюсь!» А сам, заговорившись о музыке, машинально разденется и машинально же пройдет к роялю...»

«Удивительный был музыкант! — добавил к рассказу Александра Михайловича Миклашевского Иоаннес Романович Налбандян. — Весь наполнен искусством. Напоминал этим старых мастеров — Бетховена, Моцарта... В жизни он был страшно рассеян, в музыке — собран.

Вообще изменчивое лицо у него было. Смеяться он мог, как ребенок. Расскажет анекдот и смеется заразительно. А сядет за рояль — становится суровым, лицо волевое. Видел я его и печальным. Он был очень уязвим, мог затосковать от неласкового к нему отношения. Как цветок был:

тронешь, а он закрывается».

Горе

Государственные экзамены прошли на этот раз успешно. Выдержав почти по всем предметам на «весьма удовлетворительно», Саша получил диплом первой степени.

Он приехал в Симферополь в отличном настроении. В доме на Севастопольской менялись обои и красились полы. В передней, коридорах, на стеклянной галерее стояла завернутая в рогожу новая мебель.

Готовились к встрече молодой невестки, обещавшей в скором времени приехать.

Одиннадцатого июня пришла телеграмма от Лени с радостным известием о рождении сына. В присланном вслед письме сообщалось, что Варя с новорожденным и компаньонкой Эльвиной Ивановной отправляется в Симферополь, а Леня, вынужденный остаться еще на некоторое время за границей, поедет оттуда в Петербург на Геологический конгресс.

Встретив обеих женщин в Одессе, Афанасий Авксентьевич и Александр Афанасьевич торжественно привезли их домой.

Красавица невестка сразу освоилась. Гуляя с Валею в цветнике среди душистых туй и пестреющих цветами клумб, она с открытостью безоблачно счастливого человека рассказывала ей о Лёне и об их жизни в Вене.

Третьего августа Александр Афанасьевич вместе с отцом присутствовал в Севастополе на первом исполнении профессиональным оркестром его «Старинного танца».

Довольный успехом сына, Афанасий Авксентьевич решил совершить с ним путешествие по Крыму. Они I прибыли в Гурзуф.

Афанасий Авксентьевич ждал известия из Петербурга о состоянии здоровья дочери Лизы, недавно разрешившейся от бремени.

Семнадцатого августа пришла телеграмма. Она извещала о смерти Лени.

Домой ехали молча, не глядя друг другу в глаза, боясь прочесть в них подтверждение страшной правды, в которую еще не верилось. В Симферополе им предстояло нанести удар безмятежно счастливом женщине.

Дверь ее комнаты была полураскрыта. Луч солнца, проходя сквозь щель между ставнями, освещав молодую мать, кормящую грудью младенца. Отец и сын отошли от двери.

Александр Афанасьевич пошел во «флигель мальчиков». Он увидел Ленину кровать, его летние башмаки под нею и старую студенческую фуражку. Из большого дома доносился звонкий, полный жизни голос Вари: «Да никуда я не поеду! Я жду со дня на день Леню! Он обещал приехать сразу же после конгресса!»

Откуда взялась у отца эта сила духа? Глухим, но ровным голосом он убеждал невестку съездить с ним в Петербург, куда их настоятельно зовет Наталья Карповна, встревоженная состоянием здоровья Лизы.

Александр Афанасьевич поехал к Брунсам.

«Мы жили с Женей в нашем имении Марьино, — рассказывал Сергей Федорович Брунс. — Саша приехал на извозчике и сказал, что Леня умер. Сдержанный такой был...»

«По лицам окружающих я видела, что случилось что-то неладное, — вспоминала потом Варвара Леонидовна, — но я далека была от мысли, что Леня скончался. Я поняла это только тогда, когда, приехав в Петербург, не нашла его среди родственников, встречавших нас в глубоком трауре на вокзале.

Он умер внезапно. 17 августа мой отец, доктор Чемберджи и он сидели в кабинете. Над письменным столом висел мой портрет. У Лени был легкий жар, инфлюэнца. Он сказал: «Вот моя Варюшенька на меня смотрит», — и вдруг упал и вытянулся. За правым ухом образовалась синева...»

Близкие, каждый по-своему, привыкали к утрате. Стремясь увековечить память сына, Афанасий Авксентьевич передал его труды, библиотеку и коллекции в Дерптский университет и пожертвовал большую сумму денег в фонд премий Международного геологического конгресса^[28]. Из окон «флигеля мальчиков» все чаще доносились печальные звуки Сашиних импровизаций.

У Варвары Леонидовны все время отнимала забота о сыне. Одна только неузнаваемо постаревшая Наталья Карповна всецело предавалась своему горю. Целые дни просиживала она в саду, устремив в пространство неподвижный взгляд.

Сын надеялся, что общее горе смягчит, наконец, Афанасия Авксентьевича, но он оставался к жене неизменно холоден.

По воспоминаниям Варвары Леонидовны, всю вою любовь к старшему сыну он перенес на внука: Саша тоже обожал племянника, — рассказывала она. — По утрам я слышала их голоса за дверью: «Тише, тише...» — «Да я ничего...» — «Они еще спят...»

Саша постоянно носил его на руках по комнатам, прижимая его личико

к своему лицу»^[29] *._

Никогда он еще не был так крепко связан с домом!

«Как ходит Лесенька? Что нового говорит?.. До волен ли он солдатиками и лошадками? — спраши вал он Варвару Леонидовну в одном из своих писем из Петербурга, куда он вернулся в начале 1898 года для возобновления занятий теорией композиции. — Пишите, дорогая, обожаемая Варюша, пишите как можно больше про крошечку и его маму, которых я люблю больше всего на свете, без которых нет для меня счастья, нет покоя, по которым я так тоскую, что ни одной ночи не засыпаю без слез!..»

В Судаке

Музыка и стремление к музыкальному совершенствованию помогли Александру Афанасьевичу выйти из тупика горя. «Только музыкальные занятия отвлекают меня от тяжелых мыслей, — писал он в том же письме невестке. — Потому я с удовольствием всякий раз приступаю к сочинению фуг. Несмотря на тоску, на страшное желание быть поскорее с Вами, приехать на праздники в Симферополь мне невозможно, дорогая Варечка. Прерывать занятия, едва они наладились, значит снова их расстраивать, но одно из двух или совсем оставить музыку, или же, если уже заниматься ею, то заниматься энергично и аккуратно...»

«Не ждите вдохновения, — говорил Николай Андреевич ученикам, испрашивавшим у него совета. — Каждый день садитесь за стол и пишите...» И Спендиаров писал. Он следовал совету своего учителя даже в те незабываемо тяжелые дни, когда, не придя еще в себя от постигшего его удара, он потерял ощущение времени.

Снова окунувшись с головой в занятия композицией, он страстно увлекся инструментровкой.

— Какое у него замечательное чутье к инструментальному мышлению! — говорил Римский-Корсаков Оссовскому^[30].

«Он восхищался также органическим тяготением Александра Афанасьевича к народной музыке, — вспоминал Оссовский. — Всячески поощрял его обработки татарских мелодий, наталкивал на новые записи, Спендиаров делал их в Крыму, в частности в Судаке, куда он наезжал почти каждое лето».

«В Судаке было пустынно тогда, — рассказывала Варвара Леонидовна. — Пять дач на берегу, кордон, маяк и здания Русского и Российского пароходных обществ. Тишина, безлюдье... Только пограничники бродили по пляжу, собирая камешки, да изредка приезжало на берег татарское семейство, забавляя нас тем, что мужчины въезжали в море верхом на лошадях, а женщины купались в платьях и шароварах.

В 1899 году мы жили на даче Айвазовских: Брунсы с сыном, Александр Афанасьевич и я с Эльвиной и Лесенькой.

Александр Афанасьевич писал там вокальный квартет «Птичка божия». Первыми исполнителями квартета были Сергей Федорович Брунс, певец-любитель Ф.А. Стевен, сестра Александра Афанасьевича Лиза и я.

Спевки происходили на уединенной даче, скрытой от взглядов

прохожих высокими пирамидальными тополями. В цветнике около дачи было столько роз, что, едва мы спускались в долину, наполненную стрекотом цикад и звоном древесных лягушек, как уже слышали их благоухание.

В августе в Судак прибыли Айвазовские. Сначала вкатился во двор фаэтон с прислугой, посланной спозаранку, чтобы приготовить обед к приезду господ. Потом цугом въехали гости. В последнем фаэтоне, рядом со своей чернобровой супругой, восседал Иван Константинович Айвазовский в люстриновом пиджаке, соломенной шляпе и с белыми бакенбардами».

На даче стало оживленно. Еще минувшей зимой, воспользовавшись приездом Александра Афанасьевича в Симферополь, Айвазовский пригласил его к себе в Феодосию для участия в «итальянском вечере»^[31]. Исполненный жизнерадостности художник и теперь искал общества молодого музыканта, который горячо разделял его любовь к искусству и природе Крыма. Все вокруг привлекало внимание художников, все становилось предметом их восторженных бесед. И алый под закатными лучами Алчак, напоминающий сфинкса, и золотое облако, и звезда на бледно-изумрудном небе. Они осматривали овечьими легендами развалины Генуэзской крепости, ездили на линейке в Новый Свет и прогуливались по террасе дома Айвазовского, откуда открывался широкий вид на море.

Когда темнело, они музицировали.

Как некогда Глинке, Айвазовский наигрывал Спендиарову татарские напевы, пополняя его сокровищницу крымских записей. Затем он удобно усаживался в кресло и, задумчиво сощутив блестящие глаза, выслушивал музыкальную исповедь молодого друга^[32].

Женитьба

В начале октября 1899 года Иван Константинович предложил Спендиарову-отцу построить в недавно приобретенном ялтинском доме «художественно-музыкальную залу», где бы он мог выставлять картины, а Александр Афанасьевич — исполнять свою музыку. Но спустя месяц в ответ на письмо Афанасия Авксентьевича, решившего приступить к выполнению желания художника, тот сообщил, что «нездоровье отняло у него всякую охоту» и поэтому он берет назад свое предложение, «разве что вы осуществите его для Александра Афанасьевича».

В начале 1900 года Айвазовского не стало...

Спендиаров подошел к последней фазе своих занятий с Римским-Корсаковым — сочинению «Концертной увертюры».

Работа над ней сперва не клеилась. Чувства, призывавшие его к осиротевшей семье брата, становились все острее и настойчивее. «Музыкальные дела мои идут хорошо, — писал он отцу 6 апреля 1900 года, — сочинения мои исполняются в концертах; но сочинение увертюры для оркестра, над которой я теперь работаю, идет несколько медленно и вяло, причиной чему служит то, что по мере приближения времени моего отъезда домой во мне все больше и больше разгорается нетерпение и желание поскорее видеть дорогих мне лиц...»

Он приехал в Симферополь в двадцатых числах мая. В доме его родителей стало немногочленно: вслед за старшими сестрами покинула его и мечтательница Валя. Она вышла замуж за доктора Чемберджи — свидетеля последних мгновений жизни Лени. Не было в Симферополе и Натальи Карповны: занемогшая после смерти сына, она лечилась в Карлсбаде.

Остальных членов семьи, собравшихся в доме на Севастопольской, объединял златокудрый мальчик, весело плясавший под музыку из «Сказки о царе Салтане», в то время как мать его, хлопая в ладоши, напевала: «Танцуй, Леся, танцуй, Леся, Лесенька!»

Что-то новое и светлое появилось в настроении дома.

При утреннем пробуждении вместе с теплым ароматным ветерком влетали в окна «флигеля мальчиков» голоса отца и Вари, поливавших розы.

Писать хотелось умиротворяющую музыку. Оставив на время работу над «Увертюрой» и «Татарским танцем», Александр Афанасьевич сочинил нежную «Восточную колыбельную»^[33].

Убеждение, что Ленина семья должна стать его семьей, все более утверждалось в его душе. Несмотря на отказ Вари, решившей остаться вдовой, он не сомневался в своем будущем с ней.

Брак Александра Афанасьевича и Варвары Леонидовны был решен в ту же осень. Но армянская церковь запрещала жениться на вдове брата, и Александр Афанасьевич решил перейти в лютеранство. «Забыть не могу, как Саша зубрил немецкие молитвы! — говорила Варвара Леонидовна. — Твердил за обедом, на прогулках, в гостях...»

Венчание состоялось в Одессе 27 февраля 1901 года. Обставленное чрезвычайно скромно, оно происходило в запорошенной снегом немецкой церкви, в присутствии Эльвины Ивановны с Лесенькой, Брунсов и еще двух-трех одесских родственников.

Через несколько дней Спендиаровы уехали в Петербург.

Первое исполнение «Концертной увертюры»

Александр Афанасьевич ввел свою молодую жену в общество петербургских музыкантов.

«После какого-то концерта мы провели вечер у Александра Константиновича Глазунова, — вспоминала Варвара Леонидовна. — Его мать, Елена Павловна, громадная женщина в стоящих колом юбках, вышла к нам вся залитая бриллиантами. Я заметила, что у нее такие же крошечные и неприветливые глаза, как у сына, и что сын был ее кумиром.

У Глазуновых я познакомилась с пианистом, дирижером и композитором Феликсом Михайловичем Blumenfeldом. Он порастил меня своей красотой и живостью. Бывали мы у Оссовских, Миклашевских, Черепниных...

Тотчас же по приезде мы нанесли визит Римским-Корсаковым. Супруги показались мне сперва суховатыми, но на редкость сердечное гостеприимство, проявленное по отношению к нам всеми членами семьи, навсегда уничтожило это впечатление.

Петербургские музыканты очень симпатизировали Александру Афанасьевичу. И надо сказать, что он отвечал им сторицей: хотя мы были совсем недавно повенчаны, он, завидев кого-нибудь из своих коллег, готов был покинуть меня в фойе театра и даже на улице. Когда же они собирались друг у друга для музицирования, он не подходил ко мне весь вечер, простаивая у рояля, за которым виднелась стриженная бобриком голова Римского-Корсакова и черная шевелюра Blumenfeldа.

Мы пробыли в Петербурге до самого лета. Вернулись в Симферополь после концерта, в котором впервые исполнялась «Концертная увертюра».

По традиции, издавна установленной в Беляевском кружке (это было объединение музыкантов, группировавшихся вокруг мецената, страстного любителя музыки М.П. Беляева), все новинки, и в том числе новые произведения Николая Андреевича, проигрывались на репетициях Придворного оркестра. Таким же образом была прослушана «Концертная увертюра» Спендиарова.

Римский-Корсаков удостоил ее одобрения, и Александр Афанасьевич счел возможным отдать «Увертюру» на суд публики.

Он решил обратиться к известному в то время дирижеру Николаю Владимировичу Галкину. «К. нему-то мы и отправились с Александром Афанасьевичем в одно прекрасное майское утро, — пишет в своих

воспоминаниях, Георгий Александрович Меликенцов. — Как только Николай Владимирович узнал, что имеет дело с учеником Римского-Корсакова, авторитет которого высоко ценил, он тотчас же выразил готовность дирижировать «Увертюрой» на одном из ближайших концертов, посвященных исполнению русских симфонических произведений».

Концерт состоялся 5 июня 1901 года в огромном зале Павловского вокзала.

На этом концерте, по просьбе Римского-Корсакова, присутствовал Глазунов. По его свидетельству «Увертюра» Спендиарова «звучала не так сильнее как в Придворном оркестре, конечно, причиной тому дурная акустика и исполнение с плеча». Но, по его же словам, «Увертюра» была принята «с небывалым фурором и автор раскланивался очень много раз.

Куда менее благосклонно отнеслась к произведению молодого композитора пресса. Были положив тельные отзывы, но были отзывы и ядовитые.

Особенно злой оказалась рецензия Михаила Иванова — самого ярого из завистников Римского-Корсакова, распространившего свою ненависть и на его учеников.

«По музыке увертюра этого, вероятно начинающего, композитора совершенно бессодержательна, — говорилось в рецензии М. Иванова в газете «Новое время». — Оркестровка ее еще усиливает ее бесцветность; давно не приходилось встречать подобного экономического и робкого пользования инструментальными силами, как в этой увертюре; это точно проба пера в классе обязательной инструментовки...»^[34] *

Заметка эта вначале сильно огорчила Александра Афанасьевича. По воспоминаниям Варвары Леонидовны, он даже потерял на время свою обычную сдержанность.

Но растерянность и мучительная горечь владели им недолго: вскоре он снова обрел необходимое ему спокойствие.

В доме № 3 по Екатерининской улице

«30 июня 1901 года

Дорогой Жорж!

...Все твои письма адресуй теперь в Ялту (Екатерининская ул., собственная дача, мне), куда мы выезжаем во вторник 3 июля. Лесенька наш уже поправился и сегодня встал с постели. Как здоровье Александры Антоновны^[35] и поправилась ли Варечка?.. У нас теперь очень жарко, и хотя я начал сочинять квартет на слова «Скажи мне, ветка Палестины», но работа идет очень вяло. В этом стихотворении заключается прекрасный материал для музыки, и я тебе очень благодарен, что ты мне на него указал...^[36].

Жду от тебя интересных известий о вторичном исполнении моей увертюры. А. Спендиаров».

Вечером 3 июля Спендиаровы прибыли в Ялту. Довольный браком сына с Варварой Леонидовной, к которой успел привязаться, Афанасий Авксентьевич подарил молодым недавно приобретенный в Ялте дом. Этот дом служил в конце восьмидесятых годов резиденцией сербской королевы.

Только подъехали они к украшенному ионическими колоннами крыльцу, как дубовая дверь отворилась и на пороге появился Афанасий Авксентьевич. Прямой и крепкий, он разглаживал с довольным видом пушистые концы своей раздвоенной бороды.

Торжественно ввел он молодых в бывшую молельню королевы, превращенную выписанными им из Одессы итальянскими мастерами в «мавританскую комнату». Стены ее, плафон и арки были украшены синим, золотым и красным лепным орнаментом, испещренным арабскими письменами. Две бронзовые статуи мавров, несущих факелы, охраняли вход. Через зеркальное стекло окна сквозил экзотический пейзаж с темными кипарисами и блестящими магнолиями.

Тенистый сад граничил с городским. Расположившись на террасе в покойном кресле, можно было бы наслаждаться музыкой, доносившейся с эстрады, если бы не однообразный шум строительства: на месте поэтической беседки в стиле ампира воздвигался под наблюдением Афанасия Авксентьевича большой доходный дом.

Однажды утром дней через шесть по приезде молодых в Ялту

Александра Афанасьевича позвали в кабинет отца. Афанасий Авксентьевич лежал на софе. Он показал сыну посиневшую ступню.

Вызванный тотчас же врач определил заражение крови — оно началось, как это бывает у диабетиков, в результате небольшого пореза. К вечеру нога посинела. Ее ампутировали, но заражение пошло выше.

Афанасий Авксентьевич умирал. Его перенесли в гостиную. В открытые двери врываются веселые звуки духовой музыки.

Он не хотел приезда дочерей с мужьями, представляя себе, как неугодные ему зятья будут рыться в бумагах после его смерти. «Нотариуса! — умолял он Александра Афанасьевича. — Позови скорее нотариуса!»

Но, зная намерение отца обойти дочерей и завещать все состояние ему и Лесе, Александр Афанасьевич медлил.

«Афанасий Авксентьевич так и не оставил завещания, — рассказывала Варвара Леонидовна. — Александр Афанасьевич разделил наследство по закону^[37]».

Афанасий Авксентьевич умер 11 июля 1901 года.

Александра Афанасьевича заполонили дела. Замученный ими и без того рассеянный, он даже забыл, что сделался отцом. Нагнувшись над колыбелью только что родившейся дочери Татьяны, он воскликнул, имея в виду Леню: «Боже мой, до чего же она похожа на своего покойного отца!»

Дела мешали ему сочинять. Казалось, не было конца векселям, закладным и другим деловым бумагам, заполнявшим теперь его рабочий стол. «Творчество мое в полном упадке, — жаловался он Жоржу Меликенцову в письме от 4 декабря 1902 года. — Проклятые дела, банки, векселя, сложные наследственные расчеты не дают мне вдохновиться...»

Урывая редкие минуты для творчества, композитор дописал во второй половине 1901 года вокальный квартет «Ветка Палестины». Он был разучен ялтинскими любителями к очередному благотворительному вечеру.

«Рыбак и фея»

Появление в городе молодого музыканта чрезвычайно обрадовало ялтинских старожилов, которые объединились в кружки еще в девяностых годах. Александра Афанасьевича стали приглашать на экзамены в музыкальную школу, в его гостиной устраивали репетиции к концертам. Не прошло и полугода после переезда четы Спендиаровых в Ялту, как их гостеприимный дом сделался средоточием ялтинской музыкальной жизни.

Первыми петербуржцами, навестившими Спендиарова в Крыму, оказались артистка Мариинского оперного театра М.В. Долина, известный скрипач Л.С. Ауэр и их аккомпаниатор А.М. Миклашевский. Они были на гастролях в Константинополе, а на обратном пути заехали в Ялту. Вместе с ялтинскими любителями артисты участвовали в домашнем концерте, устроенном Александром Афанасьевичем, и тем самым положили начало традиционным «спендиаровским вечерам», которые привлекали в дом на Екатерининской многих любителей музыкального искусства.

Здесь можно было увидеть и блестящего придворного с камергерскими отличиями, и солидного ученого, и почтового чиновника в потертом сюртучке... Маститый музыкант аккомпанировал раскрасневшейся от волнения певице-любительнице, артистка императорских театров пела дуэты с хористкой...

Одним из посетителей «спендиаровских вечеров» был Максим Горький. Александр Афанасьевич познакомился с ним в 1902 году.

В те годы Ялта была средоточием российских литературных сил. Уединенно жил в Гаспре Лев Николаевич Толстой. Прогуливаясь по ялтинской набережной, можно было запросто встретить Андреева, Бунина, Серафимовича. Ялтинцам примелькалась желтая панама Куприна, и даже фигура Чехова, зябко кутающегося в пальто, казалась им привычной и обыденной.

В свои последующие приезды в Ялту и Алексей Максимович Горький уже не приковывал внимания прохожих, но зимой 1901/02 года, когда писатель находился под гласным надзором полиции, весть о его пребывании в Олеизе взбудоражила любопытство многих. «Меня тоже заинтересовал приезд Горького», — пишет Александр Афанасьевич в своих воспоминаниях.

Было начало февраля, когда Спендиаров и участник любительского кружка доктор Алексин отправились на извозчике в Олеиз.

Алексей Максимович жил в деревянной даче, окруженной миндалевой рощей. Визитеров ввели в приемную, посреди которой стоял стол, уставленный винами и закусками.

Кто-то спорил, кто-то мечтательно насвистывал мотив из «Садко», кто-то, сопровождая себя на гуслях, монотонно тянул: «Солнце всходит и заходит...» Освоившись, Александр Афанасьевич разглядел сквозь сутолоку и табачный дым грубую поддевку Леонида Андреева, гусли в руках рядившегося под Горького Скитальца и благообразную голову Бунина с косым пробором и острой бородкой.

Гости то и дело поглядывали на дверь кабинета, ожидая выхода хозяина.

Спендиаров поднялся с места: откидывая на ходу гриву прямых волос, в приемную-столовую вошел Максим Горький.

Он пригласил композитора в свою рабочую комнату. Спендиаров подошел к окну. За голыми ветвями миндалевых деревьев голубело море. «Я не люблю моря в таком спокойном состоянии, — услышал он за собой окаяющую речь. — Бурное море мне гораздо больше по душе».

Заговорили о музыке, о музыкальной деятельности Спендиарова. Внимание Горького к каждому слову гостя, его «всепокоряющая простота, деликатность и нежность в обращении» невольно расположили Спендиарова к откровенности. Когда он кончил, Алексей Максимович задумчиво сказал:

— Я стихов вообще не пишу. Лучше Пушкина не напишешь, а написать хуже — это значит оскорбить память Пушкина. Пушкин за всех поэтов русских вперед на двести лет написал! Но недавно, — на его лице появилась виноватая улыбка, — я согрешил и написал песнь в стихах по валашской легенде — «Рыбак и фея». Если найдете интересным, напишите музыку.

«Спендиаров очень скоро принес нам готовую балладу, — вспоминала Екатерина Павловна Пешкова. — Алексей Максимович даже удивился, что так быстро и в то же время так удачно он написал. В другой раз он приехал к нам с доктором Алексиным, который спел балладу под его аккомпанемент».

«Крымские эскизы»

Баллада «Рыбак и фея» была исполнена впервые в Ялте, в концерте А.Б. Гольденвейзера, а затем включена в программу петербургского симфонического концерта^[38].

Тепло встреченное публикой, произведение это было весьма равнодушно принято петербургской прессой. Язвительный тон, принятый по отношению к Александру Афанасьевичу после первого же исполнения «Концертной увертюры», преследовал композитора и в дальнейшем.

Трудно представить себе, в какое отчаяние повергла бы начинающего композитора эта постоянная дезориентация, если бы его талант не был признан петербургскими коллегами. А признание это особенно возросло после исполнения в Петербурге сюиты «Крымские эскизы».

Посвященные памяти Ивана Константиновича Айвазовского, «Крымские эскизы» явились результатом длительного творческого процесса. Начался он с младенческой любви будущего композитора к матери и к связанным с ее образом крымским напевам. Проводя детство в Крыму, Спендиаров так привык к этим напевам, что не обращал на них специального внимания, относясь к ним, как к окружающей его природе: к ароматному ветру, напоенному запахом чебреца и полыни, к причудливому рисунку скал, окаймляющих тихие бухты...

Надо было прожить несколько лет на севере и вдоволь наслушаться европейских звучаний, чтобы почувствовать свое прирожденное, органическое тяготение к восточной музыке.

Живой интерес к творчеству Генария Корганова, а затем Николая Тиграняна, на петербургском концерте которого он впервые познакомился с мелодикой и ритмикой армянских плясок, поощрение со стороны Римского-Корсакова и дружба с Айвазовским помогли ему осознать это скрытое тяготение.

В Ялте композитор окружил себя народными музыкантами. Едва всходило солнце, как черные барашковые шапки и красные пояса приглашенных им татар уже маячили в его саду среди лохматых пальм и темных зарослей лавров. Александр Афанасьевич выходил на террасу, и фоном утренней жизни дома становилась народная музыка, то тягуче-задумчивая, то острая и бойкая.

Одевая ее мысленно в наряд прозрачных гармоний, расцвечивая яркими оркестровыми красками, композитор спешил в кабинет,

отмахиваясь на ходу от докучливых управляющих, ожидавших его в гостинной с кипой деловых бумаг.

Наступило лето, и Спендиаров стал часто захаживать в городской сад. Он вплотную подходил к эстраде, где репетировал сезонный оркестр. «Александр Афанасьевич прислушивался к игре каждого оркестранта в отдельности, — рассказывал петербургский виолончелист И.О. Брик, игравший в Ялте в сезон 1903 года. — Вероятно, он хотел представить себе в исполнении нашего оркестра звучание создаваемых им «Эскизов». Требователен он был к себе до невероятности! Репетируя с нами «Крымские эскизы», он еще многое переделывал в манускрипте».

Первое исполнение сюиты «Крымские эскизы» состоялось 4 сентября под управлением автора. Концерт давался в Ялте, в городском саду. По случаю бенефиса оркестрантов эстрада была украшена гирляндами из зелени и разноцветных лампочек.

Как всегда бывало на бенефисах, у эстрады толпилась курортная публика. Обычно во время концертов она без стеснения занималась или «почтой», или досужими разговорами. Но то ли аромат крымской песни покорила ее, то ли жар вдохновения, с которым молодой автор дирижировал близкой ему музыкой, только, как вспоминают очевидцы, в этот раз все внимание слушателей было обращено на эстраду.

Прекратилось шуршание гравия под ногами гуляющих. Прохожие останавливались и молча, взволнованно слушали.

В том же году Спендиаров исполнил свое новое сочинение в Петербурге. «Едва зазвучала «Плясовая», как нам показалось, что крымское солнце засияло над нами! — воскликнул Александр Вячеславович Оссовский, вспоминая о первом петербургском выступлении своего друга. — После концерта мы собрались у Глазуновых. Были Римский-Корсаков, Лядов, братья Блуменфельд, Черепнин, Александр Афанасьевич и я. Ужин, как всегда у Глазуновых, — море разливное! Оживленнейший, товарищеский ужин. Пошли тосты. По традиции, сначала за Римского-Корсакова. Потом, постучав по бокалу, чтобы призвать всех к особому вниманию, взял слово Александр Константинович Глазунов. Начал он, как всегда, издали, потом заговорил о молодом композиторе, принявшем сегодня музыкальное крещение, — ведь в этот день Александр Афанасьевич впервые выступил перед петербургской публикой. Все зааплодировали и потянулись с бокалами к порозовевшему, улыбающемуся Александру Афанасьевичу. Глазунов обошел весь стол и, подойдя к своему младшему коллеге, обратился к нему: «Мы все здесь на «ты», Александр Афанасьевич, давайте-ка выпьем на брудершафт!» Помню, Александр

Афанасьевич всполошился, замахал руками: «Это невозможно, Александр Константинович, решительно невозможно!» Но Александр Константинович и слышать не хотел его возражений. Композиторы выпили и обнялись.

Аренский

«Александру Афанасьевичу Спендиарову с пожеланием сейчас же приняться за оперу.

Любящий Н. Римский-Корсаков. 23 апреля 1903 г.».

Судя по этой надписи, сделанной Николаем Андреевичем на одной из партитур, подаренных ученику, разговор о том, что Спендиарову следовало бы заняться оперной музыкой, зашел между учителем и учеником еще в 1903 году. Занятый сочинением «Крымских эскизов», Спендиаров отложил тогда осуществление высказанного в надписи пожелания, но после успеха «Крымских эскизов» в Петербурге решил немедленно приняться за оперу.

Остановка была за темой. Воспользовавшись пребыванием в столице, Александр Афанасьевич посоветовался со своими петербургскими музыкальными друзьями и выбрал в качестве сюжета для оперы повесть Лермонтова «Бэла».

Домой он вернулся в начале марта, после Русского симфонического концерта, в котором исполнялись инструментованные им пьесы Н. Н. Аmani.

«Не медлите с известиями и пришлите афишку и рецензии, хотя бы ругательные», — писал ему Николай Николаевич из Ялты, откуда не выезжал уже в течение нескольких месяцев из-за все усиливающейся грудной болезни.

Едва переступив порог ялтинского дома, Спендиаров поспешил в «музыкальный клуб», как называли ялтинцы нотный магазин Пфайфера на набережной. Вот и Аmani; лицо у него совсем нездоровое, и ярко-красная феска еще больше подчеркивает его болезненную желтизну.

Сообщить страдающему, беспомощному товарищу весть об успехе его пьес было большой радостью для добросердечного Александра Афанасьевича.

В те дни все помыслы ялтинцев занимала разгорающаяся война с Японией. Измены, бессмысленное кровопролитие, горе, опустошения сделались постоянным предметом мрачных беседований в «музыкальном клубе» и отвлекли Спендиарова от задуманного им произведения. Всеобщее уныние захватило даже балагура Черепнина, приехавшего погостить к супругам Спендиаровым.

Но в один, прекрасный день. Александр Афанасьевич привел в «музыкальный клуб» Антония

Степановича Аренского, и все почувствовали облегчение. «Никогда еще я не встречала человека, который мог бы так заражать окружающих своей безграничной, непоколебимой солнечной жизнерадостностью», — вспоминала много лет спустя Варвара Леонидовна. Удивительная жизненная сила исходила от заразительного смеха, остроумия, а главное — от фортепьянной игры этого невидного человека, игры «корявой», как определил ее участник любительского кружка В.Н. Качалов, но исполненной живого чувства.

«Однажды собрались мы у Аренского в Чукурларе, — рассказывал В.Н. Качалов. — Он играл «Не зажигай огня», а Збруева пела. Как запомнились эти ялтинские вечера, теплые, тихие, темное небо, яркие звезды и сильный запах каких-то кустов...»

«Командированный на юг России для ревизии отделений Императорского Русского музыкального общества, Аренский заехал в Ялту на четыре дня, а пробыл в ней четыре месяца, — рассказывала Варвара Леонидовна. — Тотчас же по его приезде Александр Афанасьевич устроил в его честь музыкальный вечер. В гостиной были рядами расставлены стулья. Встречая гостей, прибывавших по разосланным Александром Афанасьевичем билетам, Евгения Афанасьевна и я рассаживали их по местам. Народу было масса. Избранный товарищем председателя Ялтинского музыкально-драматического общества, Александр Афанасьевич пригласил к себе всех его членов: руководителей кружков, солистов и хористов.

На вечере выступало знаменитое московское трио — Шор, Крейн, Эрлих, — гастролировавшее в то время в Ялте. После исполненного ими трио Аренского выступил сам автор. Как он играл! Всю жизнь свою вкладывал! Даже Блуменфельд, блестящий пианист, «король в музыке», как его называли в Ялте, не мог затмить впечатления, произведенного выступавшим до него Аренским.

За ужином Антоний Степанович привлекал всеобщее внимание. Столько ума в нем было, юмора! Красотой он не отличался: сутулый, взъерошенные волосы, но глаза его горели, как уголья, и он так увлекательно, так горячо говорил, что его помятое лицо казалось интересным.

Он приходил к нам каждый вечер. Мы сидели в саду под огромным ливанским кедром. Потом его срубили, а как бывало весело под ним! На его

ветвях висели электрические лампочки, освещавшие стол, за которым обедали с нами Аренский, Блуменфельд и Черепнин. Антоний Степанович веселил все общество остроумными каламбурами. Однажды он предложил написать вальс на скорость. Он кончил первый — и принялся дурачиться, хохотать... После обеда мы посылали в городской сад за программой и весь вечер слушали симфоническую музыку.

Каких только Аренский не совершал эксцентрических поступков, идущих вразрез с тогдашним тоном жизни! Однажды, например, когда мы всей компанией собрались в ресторане городского сада, он вскочил на эстраду и, к ужасу моему, сыграл вальс в мою честь. И в то же время он был до церемонности учтив, что тоже способствовало его редкому обаянию.

Мы все боготворили его. Мог ли Александр Афанасьевич предположить, что, устраивая для Аренского прогулки по окрестностям Ялты, музыкальным вечера, он скрашивал последние полтора года жизни композитора?

После прощального концерта, на котором Аренский дирижировал своей Первой симфонией и вступлением к опере «Наль и Дамаянти», все его почитатели собрались у нас. Он играл. Что это была за игра! Мы все были страшно взволнованы, а он, отойдя от рояля, стал по своему обыкновению шутить, каламбурить и, наконец, продекламировал экспромт, посвященный влюбленной в него ялтинке, которая бросила ему на сцену букет роз и нечаянно угодила в лицо.

*Люблю безумно я прекрасную Прасковью,
Люблю невиданной, неслыханной любовью.
Но почему, скажи, Прасковья, ты
Швыряешь в рыло мне цветы?*

— На следующий день Аренский уехал. Александр Афанасьевич устроил ему пышные проводы, собрав на молу весь гастролировавший в Ялте оркестр Преображенского полка. У каждого оркестранта было по букету роз...»

«Антоний Степанович, страшно растроганный, долго не выпускал руку Спендиарова из своей, — рассказывал участник проводов альтист А.А. Котляревский. — Раздался первый гудок. Со всех сторон к нему потянулись с объятиями. Второй гудок. Обняв еще раз Александра Афанасьевича, Аренский взошел на палубу. Третий гудок. С шумом

поднялись сходни, и пароход начал отчаливать. Спендиаров отсчитал: «Раз, два, три!» — и с возгласом: «Ура композитору Аренскому!» — мы стали бросать ему букеты».

«Когда мы забросали его розами чуть ли не до пояса, — дополнил рассказ Котляревского арфист Н.И. Амосов, — Александр Афанасьевич сделал нам знак замолчать, ожидая ответа Аренского на наше приветствие. Но композитор вынул носовой платок, поднес его к глазам, и все мы поняли, что он говорить не может».

«Три пальмы»

Мысль написать симфоническую картину на сюжет «Трех пальм» Лермонтова, несущий в себе тему насилия и поправленного доверия, возникла у Спендиарова зимой 1905 года, отмеченной событиями 9 января и высоким революционным подъемом.

Работа над симфонической картиной шла легко и безостановочно. Но даже в период самых высоких творческих радостей композитор ни на один день не выпускал из поля зрения развертывавшиеся революционные события. Жадно следя за петербургскими газетами, он узнал, что забастовали учащиеся высших учебных заведений, что к этому движению примкнули ученики Петербургской консерватории и что к ним применены жестокие репрессии. Напечатанный в газете «Русь» смелый протест Римского-Корсакова против действий консерваторской администрации привел его в восхищение. Через несколько дней он прочел в газете об увольнении Римского-Корсакова из консерватории.

«Дорогой Николай Андреевич! — обратился он к учителю в открытом письме, тотчас же отправленном им в газету «Русь». — Высоко ценя в Вас честнейшего и прямого человека и благоговейно преклоняясь перед огромным значением Вашим в русском искусстве, выражаю искреннее сочувствие Вашему справедливому и благородному протесту, высказанному в письме директору С-пб. консерватории, и не могу подавить в себе чувства глубокого негодования по поводу вызванного этим протестом увольнения Вашего из консерватории — факта постыдного для уволивших, невероятного и небывалого».

Возможно, что письмо это, выражающее возмущение действиями Главной дирекции, и явилось косвенной причиной того, что при выборе директоров в учреждавшееся в Ялте отделение русского музыкального общества кандидатура Спендиарова была, отведена.

Холодом недоброжелательства, непонятным для человека, никогда не сделавшего другому зла, повеяло на Александра Афанасьевича и в период первого исполнения «Трех пальм» в Ялте.

«В конце мая я закончил симфоническую картину для большого оркестра на стихотворение Лермонтова «Три пальмы», — сообщил он Жоржу Меликенцову в письме от 7 июня 1905 года. — Пока не услышу ее в оркестре, не берусь о ней судить. Размеров моя симфоническая картина довольно солидных: около ста страниц партитуры. В конце этого месяца я

сделаю пробу «Трех пальм» в играющем здесь Преображенском оркестре, и, если сочинение это меня удовлетворит, оно будет исполнено здесь публично...»

Прозвучав впервые на благотворительном концерте оркестрантов, симфоническая картина «Три пальмы» была затем включена в программу благотворительного концерта дирижера А. Фридмана. «Именно по желанию публики», — подчеркнула свое сообщение газета «Крымский курьер». Это был ответ на рецензию некоего «Цикады», который, раскритиковав новое сочинение Спендиарова, поставил композитору в пример исполненную в том же концерте симфоническую картину «Утес» Цезаря Кюи.

Уколы «Цикады» сделались после второго исполнения «Трех пальм» еще ядовитее. Критик старался уверить Спендиарова, что его новая вещь «безлична, расплывчата, многословна». Но это не огорчило молодого композитора. Александр Афанасьевич был удовлетворен звучанием своей «картины». Невзирая на начавшиеся затруднения с транспортом, Спендиаров через несколько дней отвез «Три пальмы» в Петербург, притихший, если судить по запертым магазинам, и в то же время невероятно приподнятый, наполненный гулом упорно не расходящейся толпы, сквозь который прорывались обрывки революционных песен.

О своем приезде Спендиаров тотчас же сообщил учителю.

«Дорогой Александр Афанасьевич! — написал Римский-Корсаков, получив от него сообщение. — Жду Вас завтра, во вторник, в 1 1/2 дня. Рад Вас увидеть и услышать».

Встреча состоялась 20 сентября. Она не отражена ни в письмах Спендиарова, ни в его воспоминаниях, но, зная, что «Три пальмы» Николаю Андреевичу понравились^[39], что к новому произведению Спендиарова он уже заранее проявлял живой интерес, легко себе представить, как, дружелюбно коснувшись плеча своего ученика, Римский-Корсаков поспешно провел его в залу, как, усевшись с ним за рояль, стал с увлечением проигрывать партитуру, а затем, обернувшись к Александру Афанасьевичу, поднял на него — добрые, веселые, окруженные морщинками глаза и произнес слова похвалы.

Симфоническая картина «Три пальмы» была включена в программу второго в сезоне Русского симфонического концерта. Он состоялся 2 марта 1906 года в зале Дворянского собрания.

Весь этот день Спендиаров казался отрешенным от внешнего мира, что, однако, не помешало ему, собираясь на концерт, одеться с особенной тщательностью.

Его новое сочинение шло во втором отделении первым.

Как умел этот робкий, нерешительный в жизни человек вкладывать в дирижерское искусство всю силу своего духа! Следуя его властной руке, подчиняясь его четкому жесту, маститые оркестранты Придворного оркестра играли с небывалым подъемом.

Едва умолкли последние звуки заключения, как раздались рукоплескания. Вытирая потный лоб Александр Афанасьевич обернулся к публике и увидев дел прямо перед собой радостные лица: Римские Корсаков, братья Стасовы, Глазунов, Черепнин, Оссовский, Блуменфельд стояли у самой эстраде и горячо аплодировали.

На музыкальных «средах» у Римских-Корсаковых

«Мы прожили в Петербурге весь март, — рассказывала Варвара Леонидовна, — ведь у нас там был миллиард знакомых! Александр Афанасьевич находился в центре всеобщего внимания. Его хвалили, называли «восточным Глинкой». А он как? Да он никак. По-прежнему, придя к кому-нибудь в гости отыщет рояль, поднимет крышку, чтобы узнать его марку, и, проверив несколькими аккордами строй, усядется и начнет импровизировать. Я была уверена, что после успеха «Трех пальм» Александр Афанасьевич энергично возьмется за еще более крупное произведение. Когда мы приехали в Ялту, я сказала ему об этом. А он тут-то и почил на лаврах. Ходит, бродит, то в нотный магазин пойдет, то на заседание Армянского благотворительного общества...^[40]

Конечно, без музыки он не мог прожить ни одного дня. Надо было видеть, например, его тоскующее лицо в поезде, где он принужден был обходиться без инструмента! Но все то, что он играл в то время, все эти чудесные импровизации, которые мне казались обдумыванием еще не созревшего в душе произведения, рассеивались как дым, не оставляя по себе и следа.

Сколько либретто он перезаказал, от скольких сюжетов отказался! Александр Афанасьевич ведь был такой человек: все то, что он делал, — делал совершенно, причем работал с утра до вечера, запоем. И в то же время впрячься в работу ему бывало очень трудно. Как-то на одном из музыкальных журфиксов у Римских-Корсаковых, устраиваемых по нечетным средам, Николай Андреевич сказал мне: «Варвара Леонидовна, влияйте на своего мужа, он мало пишет, при таком таланте он мало дал...» То же самое говорили мне Черепнин, Блуменфельд, Аренский...»

Завершив петербургским исполнением «Трех пальм» один из самых насыщенных периодов своего творчества, композитор столкнулся с бесконечными горестями. Ко множеству людей, которым он постоянно оказывал помощь, прибавились теперь жены и дети неблагонадежных, высылаемых пачками из Ялты^[41]. Умер от чахотки Аренский. От той же болезни умерла сестра Александра Афанасьевича Валя. Не в силах слушать сдержанные вздохи матери, доносившиеся из смежной с кабинетом «бабушкиной комнаты», Спендиаров уходил в «музыкальный клуб» и долго сидел около магазина на скамеечке, рассеянно слушая беседы музыкантов.

Писать на любую предложенную ему тему Спендиаров не мог. Он

должен был найти близкий ему по остроте переживаний сюжет. Не переставая стремиться к основному своему сочинению, тоскуя по нем, тщетно ища главное, композитор останавливался порой на случайном. Так появились на свет баллада «Бэда-проповедник» на слова Полонского, удостоенная в 1910 году премии имени Глинки^[42], «Восточная легенда» на слова С.Я. Маршака^[43] и романсы лирического характера, исполнявшиеся на музыкальных «средах» у Римских-Корсаковых^[44].

Друзья, ожидавшие после «Трех пальм» интересных и значительных сочинений, осаждали композитора предложением сюжетов. Из деликатности он пытался воспользоваться некоторыми из них и даже уверял жену в реальности своих подготовительных занятий. Но проходило время, и, по выражению Варвары Леонидовны, все лопалось как мыльный пузырь.

Так было и летом 1907 года. Поселившись в Судаче, композитор решил было написать симфоническую картину «Валькирии». Он приступил к ней с такой уверенностью в успехе, что об этом стало известно в Петербурге, и Спендиарову был сделан запрос из Попечительного совета: нельзя ли включить его новую картину в программу Русских симфонических концертов. Но к моменту получения запроса композитора уже постигло разочарование. Протосковав часть лета над совершенно чуждым ему сюжетом, он вместо симфонической картины сочинил «Концертный вальс», снова обманув, таким образом, общие ожидания.

Между тем имя композитора приобрело известность. Его «Крымские эскизы» и «Три пальмы» исполнялись во всех крупных городах России, а также в Германии, Дании, Италии, Америке. Маститые дирижеры обращались к нему с просьбой прислать свои «новые партитуры».

Николай Андреевич, которого Спендиаров ежегодно посещал в Петербурге, настойчиво советовал взяться за крупную форму.

В предпоследний раз Александр Афанасьевич был у своего учителя в среду 23 января 1908 года, в разгар петербургской зимы. После свинцового тумана и заledenевшего воздуха улиц казались особенно нежными гиацинты, которые стояли на подоконнике в зале Римских-Корсаковых.

«Сегодня, — пишет Ястребцев в своих воспоминаниях, — кроме меня, были Н.И. Забела-Врубель, И.И. Лапшин, братья Стравинские, С. Беляев, А. Спендиаров, М. Гилянов, двое Делафос и Максимилиан Штейнберг».

Ровно в девять Римский-Корсаков был в зале. Собравшиеся вокруг рояля музыканты тотчас же обернулись и пошли ему навстречу. После дружелюбно-шутливых приветствий, во время которых Николай Андреевич

выказывал свое милое, чисто «корсаковское» остроумие, началось музицирование. Весь превратившись в слух, композитор сидел очень прямо, высоко держа голову и скрестив руки на груди.

Первой выступила дочь Римского-Корсакова, Надежда Николаевна-«младшая», такая же тонкая и подтянутая, как и ее мать, ей аккомпанировавшая. Затем залу наполнил густой бас Гурия Стравинского. Наконец место у рояля заняла хрупкая мечтательная Надежда Ивановна Забела-Врубель. Она исполнила под аккомпанемент Александра Афанасьевича его «Восточную колыбельную», «К луне» и «Веселись, о сердце-птичка».

Николай Андреевич слушал, собирая в руке жесткие пряди седой бороды, — жест, указывавший у него на состояние покоя и благодущия.

В этот вечер он был особенно внимателен к Александру Афанасьевичу. После чая с неизменным клубничным вареньем он подошел к нему и, как свидетельствует Ястребцев, стал советовать непременно написать оперу и «обязательно восточную». «Вы, — сказал Римский-Корсаков, — по самому рождению своему человек восточный, у вас восток, что говорится, в крови, и вы именно в силу этого можете в музыке в этой области дать нечто настоящее, действительно ценное. Это не то, что я, — добавил Николай Андреевич, — у меня мой восток несколько головной, умозрительный».

Как реагировал Спендиаров на эти слова своего учителя и убедил ли он Римского-Корсакова в том, что одной восточной тематики недостаточно для выявления его творческой сущности, осталось неизвестным.

Глазунов

В тот год Спендиаров вернулся из Петербурга в начале апреля, задержавшись по дороге в Харькове, где были исполнены под его управлением «Три пальмы» и «Крымские эскизы».

Находясь в приподнятом состоянии духа от необыкновенно сердечного приема, оказанного ему харьковчанами^[45], он энергично взялся за музыкально-общественные дела. Тотчас же по приезде он приступил к осуществлению давно тревожившей его идеи: установить памятник на могиле Калининкова^[46].

После нескольких лет затишья сезонная жизнь Ялты в этом, 1908 году казалась особенно оживленной. Там собрался цвет русского артистического мира: артисты Императорской оперы Мравина, Пикок, Южины, артисты Императорской драмы Тиме, Ходотов, дирижеры Эйхенвальд и Блуменфельд, композитор Гречанинов...

В начале июня пришло известие о смерти Римского-Корсакова. Объединенные скорбью по великом композиторе, местные и приезжие артисты посвятили свою ялтинскую артистическую деятельность памяти Николая Андреевича. 29 июня состоялся концерт артистов Южиных: исполнялись произведения Римского-Корсакова и его учеников. Часть сбора с этого концерта была отдана в фонд памятника безвременно погибшему Калининкову. Перед началом симфонического концерта, который состоялся 10 июля, прозвучала «Траурная прелюдия» на смерть Римского-Корсакова — Спендиаров написал ее за несколько дней.

Помня слова учителя в их последнюю встречу, Александр Афанасьевич с особенным упорством возобновил свои поиски оперного сюжета. Сначала он увлекся рассказом Куприна «Суламифь», потом загорелся мыслью написать оперу на поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и, наконец, остановился на армянской «Ара Прекрасный и Семирамис».

По случайности начало этой новой армянской «эры» в музыкальной деятельности Спендиарова совпало со знаменательным событием: ему присудили премию имени Глинки за симфоническую картину «Три пальмы». Это было в ноябре 1908 года. Среди десятков поздравлений, которые получил композитор, было и письмо его полуослепшей матери: «Дорогой мой сын Саша! — писала Наталья Карповна. — Я сейчас читала в газете «Одесские новости», что ты получил за «Три пальмы» 500 рублей

премию Глинки. Поздравляю тебя, мой дорогой сын!»^[47].

Летом следующего, 1909 года Спендиаров поселился в Судаче и приступил к сочинению оперы, названной им «Шамирам» (вариант имени Семирамис). Близость моря и тишина флигеля, где стояли с детства знакомые библиотечные шкафы и плюшевая мебель из «флигеля мальчиков», способствовали его работе. К сентябрю были написаны пролог оперы и начало первой картины. Но затем пришла для проверки целая кипа корректурных оттисков партитур «Бэды-проповедника» и «Концертного вальса», и волей-неволей пришлось отложить сочинение оперы и потратить много времени на кропотливую, утомительную работу. «Не успел я ее закончить, — писал Спендиаров 8 сентября 1900 года Жоржу Меликенцову, — как получил известие от А. К. Глазунова о том, что он едет в Ялту погостить у меня; накануне его приезда я выехал в Ялту и провел с моим приятным гостем две недели».

Дружба двух композиторов достигла в эти годы своей вершины. Оба были несловоохотливы и сдержанны в проявлении чувств, но трудно представить себе отношения более возвышенные и задушевные. «Что-то чрезвычайно привлекательное было в его (Спендиарова) дружбе с Глазуновым, таким по внешности непохожим на него человеком», — пишет в своих воспоминаниях М.Ф. Гнесин.

Композиторы старались во всем помочь друг другу^[48].

Зная трогательную любовь Александра Константиновича к подрастающему поколению музыкантов, Спендиаров сочувствовал его гневу, когда петербургские музыкальные друзья Глазунова, проглядевшие в нем прирожденного общественника, настаивали на его уходе с поста директора консерватории.

Не тревожа Александра Константиновича упреками и уговорами, он умел отвлечь его от мрачных мыслей. Со своей стороны, и Глазунов не отягощал друга советами и предостережениями в период его страстного увлечения певицей Андреевой-Отто, женщиной «замечательно красивой», по отзывам ее ялтинских современников, «кроткой», «мягкой в обращении» и проникающей в самую душу долгим взглядом зеленовато-карих глаз^[49].

Как знать, относился бы Глазунов к любви друга с такой доброжелательностью, если бы эта любовь вела его к упадочничеству и творческому бессилию! Но, как рассказывают ялтинские друзья Спендиарова, Александр Афанасьевич был бодр и деятелен в дни выпавшего ему на долю счастья. Избранный, наконец, директором Ялтинского отделения ИРМО (Императорского Русского музыкального

общества), он выхлопотал городу постоянный симфонический оркестр, упорядочил работу в Музыкальных классах...

Дела Армянского благотворительного общества также продолжали занимать композитора. Постоянно встречаясь с художником Суренянцем, поэтом Цатуряном^[50], журналистом Бабяном и другими проживавшими в Ялте армянскими деятелями и укрепив в беседах с ними давно зародившееся в нем патриотическое чувство, он сочинил в эти дни свою первую армянскую героико-патриотическую пьесу, восторженно встреченную Александром Константиновичем^[51].

Возвышаясь над кузовом фаэтона, Александр Константинович сопровождал влюбленных в загородные поездки, просиживал с ними вечера на «Поплавке» и принимал участие во вдохновенных музицированиях. Пост друга он не покидал и в дни вскоре последовавших супружеских объяснений, заботливо успокаивая Варвару Леонидовну, вставшую на защиту своих многочисленных детей.

Когда все уже было кончено и не изжитые еще переживания глубоко запряты, Глазунов еще долго оставался возле своего друга. Они писали музыку, сидя рядом на террасе, выходившей в сад^[52]. По вечерам вместе посещали симфонические концерты.

Их контрастные фигуры привлекали к себе внимание. Вот они — громоздкий и миниатюрный на ялтинской эстраде. Вот они в Судаче. Укрывшись в кабинете от нестерпимой жары, Глазунов играет со Спендиаровым в четыре руки. Резкий запах датущ цветущих около флигеля, и шум поливающих клумбы струй напоминают о наступлении вечера. Оставим музыку, композиторы идут любоваться закатом. Медленно движутся они по аллее к пляжу. Вот их фигуры, превратившиеся в силуэты, остановились у калитки. Спендиаров указал тростью на позолоченный закатными лучами Алчак. Панама Глазунова мелькнула в последний раз над оградой и исчезла.

Вторая серия «Крымских эскизов»

Летом 1911 года Спендиаров сочинил на слова Горького мелодекламацию «Эдельвейс» и оркестровал написанную к пятидесятилетию со дня рождения А.П. Чехова мелодекламацию «Мы отдохнем». Обе вещи были исполнены в одном из Русских симфонических концертов. «Мы отдохнем» удостоилась в 1912 году премии имени Глинки.

К начатой еще в 1909 году опере «Шамирам» композитор постепенно остыл, и летом 1912.. года, идя вразрез с оперными планами, созрело в его душе второе крымское симфоническое произведение, навеянное мягкими контурами судакских холмов, позвякиванием бубенчиков пасущихся стад и поэтическими обрядами крымских татар, сопровождаемыми близкими ему с детства татарскими напевами.

Давно уже у него не было такого блаженного музыкально-созерцательного настроения! Сидя за ужином рядом со своим тестем Леонидом Егоровичем Мазировым, преданным всему, что касалось Крыма, он забавлял детей изображением муллы во время «обряда бритья», тянущего, мерно покачиваясь на подушке, мотив на двух нотах: «Хей я хей! Хей я хей!»

Пятнадцатилетний Лесенька, красивый юноша с открытым взглядом серо-зеленых глаз, и его гувернер мистер Гарстин, побывавшие вместе с Александром Афанасьевичем на татарской свадьбе, весело подтягивали ему, вспоминая подробности свадебного обряда.

Вечерний мрак казался детям особенно черным от яркого света лампы-«молнии», висевшей над столом. О ламповое стекло отчаянно бились ночные бабочки. Постепенно лица родных становились расплывчатыми, и в сонном сознании детей возникали картины свадьбы.

Вот сакля, убранная разноцветными платками, вот окутанная чадрой невеста в кругу оплакивающих ее подруг. Заслышав звуки «Хайтармы», две грациозные татарочки пустились в пляс, чуть притопывая и шелестя «даре»^[53]. Вот двинулось по узкой улочке деревни торжественное «шествие жениха», Освещая себе путь факелами, оно движется медленно и ритмично под мужественный маршеобразный мотив, напеваемый сипловатым голосом Александра! Афанасьевича...

Лето 1912 года, запомнившееся детям непрерывно звучавшими в кабинете Александра Афанасьевича татарскими свадебными напевами, оставило в их памяти еще одно яркое воспоминание: празднование дня

рождения Александра Константиновича Глазунова.

Все семейство Александра Афанасьевича от мала до велика участвовало в подготовке к этому празднеству. Мистер Гарстин и Леся прикрепляли разноцветные лампочки к проволоке, протянутой на «лунной» террасе. Девочки, приученные с младенческих лет к почитанию любимого друга отца, украшали спинку его кресла гирляндами из виноградных лоз и цветов граната.

Вечером, когда многочисленные гости поднялись на террасу и могучий «новорожденный», опустившийся в кресло, оказался увенчанным виноградными листьями, зажглась иллюминация, и на фоне почерневшего неба засверкали инициалы А. и Г.

Дача Спендиаровых, расположенная на самом берегу моря и приметная для прохожих обилием роз, и громкими голосами ее экспансивных обитателей, все лето служила приютом для петербургских музыкантов. Осенью она опустела. Вслед за Лесей, перешедшим в седьмой класс Ялтинской гимназии, переехало в Ялту и все шумное семейство композитора, оставив его одного с глазу на глаз с природой.

Нашествие красных жуков

Композитор прожил в Судаке до начала декабря, чередуя музыкальные занятия с прогулками по облетевшему саду, любуясь морем и подолгу беседуя с суданскими мастеровыми, занятыми ремонтом приусадебных построек. Если бы не полученное им приглашение из Берлина на премьеру балета «Семь дочерей короля духов», поставленного балетмейстером Фокиным на музыку «Трех пальм»^[54], Александр Афанасьевич охотно прожил бы в опустевшем Судаке всю зиму — так устал он от светского уклада ялтинского дома, привлекавшего все больше любителей искусства.

Следующий, 1913 год, встреченный Спендиаровым в столице Германии в обществе прима-балерины Анны Павловой и Фокиных, был для него на всем своем протяжении годом шумным и суетливым.

Балы, вечера, приемы устраивались теперь в доме на Екатерининской все чаще и чаще. Когда Лесе исполнилось шестнадцать лет, к обществу взрослых присоединилась молодежь. Она ставила спектакли, кружилась в котильонах...

27 февраля 1914 года Спендиаров выступил в Русском симфоническом концерте со второй серией «Крымских эскизов». Находясь еще в Петербурге, он получил из Павловска предложение выступить летом на авторском концерте. С радостью приняв это предложение, он вернулся в Ялту и вскоре переехал в Судак, где в ожидании творческой поездки в Бахчисарай благодушествовал полтора месяца. «На кустиках земляники и клубники появились ягоды, — писал он Варваре Леонидовне, оставшейся пока в Ялте с новорожденной дочерью Марией. — Очень эффектна наша павлония, густо покрытая цветами. По обыкновению, обилие чудесных роз...»

Из Бахчисарая композитор вернулся в упоении от лунных пейзажей и от привезенной им татарской колыбельной мелодии. Он застал в Судакe телеграмму, сообщавшую, что концерт в Павловске назначен на 8 июля, репетиция же к нему — на 4-е.

Композитор стал энергично готовиться к концерту, но известия о войне, разгорающейся между Австрией и Сербией, вскоре ослабили его деловую приподнятость. Его охватило тревожное настроение. Оно еще усугубилось небывалым зрелищем, которое показалось ему зловещим предзнаменованием: выйдя однажды утром к морю, он обнаружил, что весь пляж от Алчака до Генуэзской крепости усеян красными жуками,

напоминающими капли крови.

Отъезд Александра Афанасьевича и Леси, которого композитор решил взять с собой, был назначен на 29 июня. Незадолго перед тем Леся упал с лошади, отделавшись небольшим головокружением ранкой на подбородке.

В Павловске они остановились у Меликенцовых. Александр Афанасьевич готовился к выступлению. Леся играл с утра до вечера в теннис. Оба были приглашены на 5-е в Озерки к Глазуновым, но 4-го Леся заболел «легкой инфлюэнцей», как определил заболевание вызванный Александром Афанасьевичем врач.

«Ввиду недомогания (Леси) придется Вам приехать одному обедать», — телеграфировала Александру Афанасьевичу Елена Павловна Глазунова.

Шестого июля на рассвете Спендиаров был вызван из Озерков в Павловск. На вокзале его встретил Александр Герасимович Меликенцов. «Он обнял Александра Афанасьевича и сказал ему: «Крепитесь, случилось ужасное несчастье^[55], - рассказывала дочь Меликенцовых Варя. — Всю ночь Александр Афанасьевич ходил по комнате, заложив руки за спину. Иногда он подходил к дверям спальни и звал: «Тетенька (он так называл мою мать), тетенька, вы не спите?..»

Опять, как семнадцать лет назад, ему предстояло нанести удар кормящей матери. Предупрежденная доктором Чемберджи, на имя которого Александр Афанасьевич послал телеграмму, она выслушала рассказ мужа, растерянная от непомерного горя, в небрежно накинутом капоте, с распушенными, как у безумной, волосами.

В детской весело смеялся четырехлетний Тасенька, доводя до отчаяния Эльвину Ивановну — воспитательницу и преданного друга Леси. В глубине сада, всеми забытая, неподвижно сидела Наталья Карповна.

Как это уже было семнадцать лет назад, жизнь Спендиарова остановилась. Казалось, ничто не могло вывести его из оцепенения.

Девятнадцатого июля Германия объявила войну России. Приезжие, охваченные паникой, стали разъезжаться по домам.

После вступления в войну Турции в Судак заговорили о неизбежности бомбардировки крымского побережья. Варвару Леонидовну, до сих пор равнодушную ко всему, охватило беспокойство за детей. Постаревшая, заплаканная, потерявшая красоту, грацию, светскость, она проявила возросшую во сто крат энергию, организовав выезд семьи в глубь Крыма.

Начались бесконечные переезды из одного крымского города в другой. Лишившись инструмента, одиночества и тишины, Александр Афанасьевич пытался занять себя делами, не требующими вдохновения.

Между тем известия об опустошениях, производимых войной, и о возрастающей армии беженцев приходили все чаще и чаще. Александр Афанасьевич решил участвовать в общем горе творчески. К этому времени семейство Спендиаровых водворилось в Старом Крыму, в дряхлом домике Айвазовского. Декабрь выдался холодный. Радуюсь непривычным зимним забавам, дети катались с гор на салазках — Александр Афанасьевич уединился в отведенной ему рабочей комнате. Несмотря на сильные сквозняки и прогнившие половицы, старокрымское устройство показалось ему райским. Раздобыв себе старенькое пианино и расположившись с рукописями на шаткое столе, он энергично взялся за работу.

«Алмаст»

На рождество детям принесли из старокрымского леса можжевельник, и они украсили его самодельными игрушками. Усевшись за дребезжащее пианино, Александр Афанасьевич сыграл марш Шуберта, и дети парами приблизились под марш к «елке». Ввиду траура танцев не было. Невольно вспомнилось празднование рождества в Ялте, «когда все было благополучно». Возбужденные, празднично одетые дети толпились тогда у запертых дверей гостиной, пока двери внезапно не раскрывались перед ними, чтобы впустить в «мавританскую комнату». Сверкая пламенем свечей и золотом украшений, стояла там высокая ель. После раздачи подарков начинался детский бал. Бабушка Наташа — миниатюрная старушка с голубыми глазами и белоснежной сединой под обшитой стеклярусом черной наколкой — играла польку «Папийон». Ее сменяли за роялем одиннадцатилетний сын покойной Вали — Коля Чемберджи — и Александр Афанасьевич. Он обычно играл вальсы из «Фауста» и «Раймонды».

После праздников стеснившееся в маленьком доме семейство возвратилось к трудовой жизни. В руках Варвары Леонидовны и девочек замелькали спицы. Они вязали напульсники, носки и жилеты — все это отсылалось на передовые позиции. — Александр Афанасьевич непрерывно писал. Окончив еще до рождества «Песнь армянского дружинника», он подготовил ее к изданию в пользу жертв войны. Затем, имея в виду ту же цель, он приступил к сочинению «Марша на казачьи темы». Композитор завершил его в Судаке, куда вместе с семьей вернулся в марте 1915 года.

В саду цвел миндаль. Розовые и белые миндалевые деревья спускались со склонов близлежащих холмов. Их аромат усиливался к вечеру, когда на блекнущем небе разгорались звезды. Гармонируя с вечерним пейзажем, из открытых окон кабинета доносились звуки «Татарской колыбельной». «Я ужасно счастлив, — писал композитор Жоржу Меликенцову, — что попал опять в свою рабочую комнату, откуда могу среди занятий созерцать любимую судакскую природу...»

Но пришли известия о бедствиях турецких армии, достигших весной 1915 года неслыханных размеров, и отвлекли творческую мысль Спендиарова от лирики. Летом того же года он написал на слова армянского поэта Иоаннисяна оду «К Армении». В августе он выехал в Москву. Сочувствие русской интеллигенции к бедствиям «братьев-армян»

выразилось в организации «армянской недели». Как рассказывает профессор А.Л. Чижевский, тогда студент Московского университета, во время этой «недели» были выставлены картины армянских художников, выступали поэты, писатели и критики, устраивались концерты армянских композиторов. Бунин и Айхенвальд говорили о литературе Армении, Брюсов читал посвященные Армении стихи, Вячеслав Иванов — свои переводы армянских поэтов. 9 августа в театре «Эрмитаж» состоялся симфонический концерт Спендиарова. Судя по письму Л.Е. Мазирова к дочери, концерт этот прошел с большим успехом и вызовом не было конца. По свидетельству профессора Чижевского, Спендиаров выступал также с сольным номером в зале Политехнического музея.

Все свободное время Александр Афанасьевич проводил в Комитете помощи жертвам войны с Турцией. Там он и встретил впервые известного уже тогда художника Мартироса Сергеевича Сарьяца — автора обложки к его «Песне армянского дружинника».

Почувствовав к художнику доверие, Спендиаров посвятил его в тайны своей творческой жизни, полной сомнений и исканий. «Незадолго до этого, — рассказывал Мартирос Сергеевич Сарьян, — я познакомился с русским композитором Гречаниновым, и тот сообщил мне, что собирается писать оперу на сюжет поэмы Ованеса Туманяна «Ануш». Я сказал об этом Александру Афанасьевичу, желая задеть его патриотическое самолюбие, и, по-видимому, добился цели».

Спендиаров твердо решил ехать в Тифлис. Он хотел дать там концерт в пользу жертв войны. К тому же к его давней мечте — послушать на месте кавказские напевы — прибавилась теперь настоятельная необходимость встретиться с поэтом Туманяном. Александр Афанасьевич рассчитывал выехать в Тифлис вскоре по возвращении в Судак. Но новое семейное горе нарушило его планы: 3 сентября умерла Наталья Карповна. Ее смерть наступила скоропостижно. Возвратившись после однодневной поездки к знакомым, девочки застали ее в гробу. Александр Афанасьевич ни на шаг не отходил от покойницы. «Все, кто ее знал, сердечно любили ее за ее удивительную душевную мягкость и доброту», — писал Спендиарову его верный друг Жорж Меликенцов. «Я горжусь тем, — отвечал ему в письме Александр Афанасьевич, — что *решительно во всех* сочувственных телеграммах и письмах, полученных мною, отмечается ее беспредельная доброта, кротость и ласковость...»

В Тифлис Спендиаров приехал в конце февраля. На вокзале среди встречающих он увидел композитора Романоса Меликяна, знакомого ему еще по Петербургу. Чуть ли не на следующий день, сопровождаемый

Меликяном, Спендиаров отправился в странствие по азиатской части города. С тех пор это повторялось почти ежедневно. Вероятно, во время этих странствий, когда он слушал в кофейнях игру народных музыкантов, пришла ему в голову мысль соединить звучание различных инструментов. На первом же заседании Армянского музыкального общества, устроенном в ознаменование его приезда, композитор обратился к своим тифлисским коллегам с призывом создать восточный оркестр^[56]. Привычной заботой о любимом искусстве звучали его слова, просто и искренне было высказано им обещание отдать все свои силы Армянскому музыкальному обществу. Та же сердечная простота, удивившая новых знакомых композитора, прозвучала и в его ответном слове на банкете, устроенном после его авторского концерта.

Непрерывные банкеты, концерты в музыкальном училище, в семинарии^[57] не мешали, однако, общению Спендиарова с Туманяном. Их встречи начались с первых же дней пребывания композитора в Тифлисе. Происходили они в кабинете поэта. Там у столика из черного дерева стояла пестрая тахта, за стеклами книжных шкафов были изображения заморских птиц. Александр Афанасьевич заинтересовался сперва поэмой «Ануш», и у поэта и композитора даже зашла речь о поездке в Лори, на место действия будущей оперы. Но, внимательно проштудировав поэму, Спендиаров понял, что ее образы не захватывают его.

Тогда он заинтересовался легендой «Парвана» — о прекрасной царевне, утонувшей в озере из собственных слез. Подхватив брошенные где-то композитором слова о желании использовать сюжет легенды для оперы, корреспондент «Кавказского слова» поспешил сообщить их тифлисской публике. Его заметка вышла чуть ли не в тот самый день, когда композитор признался Туманяну, что в легенде «негде развернуться» и что сюжет ее кажется ему «слишком лиричным». Он просил Ованеса Фаддеевича расширить некоторые места в легенде и присочинить к ней несколько стихотворных строк. Но, угадав, к чему тяготеет композитор, поэт предложил его вниманию другое свое произведение — историческую поэму «Взятие крепости Тмук».

«Спендиарову она сразу очень понравилась, — пишет в своих воспоминаниях дочь поэта Нварт. — Вскочив с места, он воскликнул: «Вот это другое дело! Это именно то, что мне нужно!» — и, воодушевленный, стал ходить по комнате. Он попросил Туманяна читать ему строчку за строчкой. Особенно понравился ему запев в ашугской форме... Шагая из угла в угол, он громко декламировал «Эй, парон-нэр!»^[58], а затем

останавливался и, обернувшись к Туманяну, нетерпеливо спрашивал его: «Ну, а как Дальше, парон Ованес, как дальше?»

Поэт и композитор встречались теперь ежедневно. Они набрасывали эскиз сценария. Образ князя Татула показался композитору недостаточно отчетливым. Он попросил Туманяна написать для Татула несколько песен. Воодушевление его не оставляло. Слушая еще и еще раз поэму, Спендиаров прохаживался по комнате, разговаривая с самим собой: «Трон шаха, драконы... песнь ашуга... Замечательно!..»

«Его интересовала историческая сторона поэмы, — пишет далее Нварт Туманян. — Поэт отыскивал необходимые ему (Александру Афанасьевичу) книги, находил нужные места, читал, пояснял. Потом они перешли к выбору имени героини. Туманян предлагал имя Гоар, которое, однако, впоследствии, при составлении либретто, было заменено именем Алмаст.

Спендиаров уехал в Крым ликующий. «Восхищение поэмами парона Ованеса Туманяна не покидает меня, — писал он из Крыма родственникам, приютившим его в Тифлисе. — Жажду поскорее приступить к опере на сюжет о тмкабердской княгине».

Врачи обнаружили у Александра Афанасьевича болезнь сердца и предписали некоторые ограничения. И все-таки приподнятое состояние духа не оставляло его^[59].

В последних числах ноября композитор вторично поехал в Тифлис. Здесь 3 декабря 1916 года на заседании Армянского музыкального общества он заявил в своем решении писать оперу на сюжет поэмы Туманяна. На том же самом заседании члены правления общества композиторы Армен Тигранян, Спиридон Меликян и Анушеван Тэргевондян обратились к собравшимся с просьбой помочь композитору в приискании нужного ему материала.

Пятого декабря на квартиру к председателю общества Тер-Давтяну были приглашены лучшие ашугские ансамбли. В тот же день, во время очередных занятий Спендиарова с Туманяном, певица Тер-Минасян исполнила для композитора несколько армянских песен. Зайдя как-то к Спиридону Меликяну, Спендиаров прослушал в его исполнении мелодичные ширакские песни^[60].

Накануне его отъезда был устроен «восточный вечер» в Обществе армянских писателей.

«На этом вечере, — пишет Нварт Туманян, — ансамбль имени Саят-Новы спел и сыграл песни Саят-Новы, ансамбль сазандари — персидские мотивы, маленький ансамбль азиатских сантуристов — курдские и

арабские мелодии, затем следовал ансамбль дудукистов Сандро, чиануристов Сурена... В конце певица Тер-Минасян спела народные песни, а Мушег Агаян — цикл «Антуни» и «Дун энглхен»... На следующий день на дом к родственнику Спендиарова были приглашены некоторые ашуги, которых композитор вновь и вновь заставлял играть особенно понравившиеся ему напевы...^[61]»

«Славься, первый майский день!»

Тишину зимнего Судака нарушал только шум волн, набегавших на холодный берег. На этом фоне восточные мелодии, записанные на граммофонные пластинки, казались резкими. Особенно поражала слух песня, исполнявшаяся очень высоким тенором, который выделял на верхах сложные фиоритуры. Ее пел настоящий персидский ашуг — как сказал Александр Афанасьевич девочкам, постоянно торчавшим во флигеле.

Вечером граммофон переносили в гостиную и под лампой-«молнией» собиралось все семейство. Сначала слушали пластинки, затем Александр Афанасьевич читал поэмы и сказки Туманяна.

К началу следующего, 1917 года уютные беседы под лампой-«молнией» сменились тревожными обсуждениями разворачивающихся событий. Разговор шел о бесчинствах, которые творились при дворе, об измене военного министра Сухомлинова и участии другого царского министра в «распутинских радениях». Даже детям, внимательно прислушивавшимся к разговорам взрослых, передавалось ощущение какого-то скорого и неминуемого исхода. И все-таки давно предугадываемые революционные события поразили всех своей внезапностью.

В марте начались выборы в Советы. Александр Афанасьевич, проводивший до тех пор время в творческом уединении, не пропускал ни одного собрания^[62]. Однажды он вернулся домой взбудораженный. «Папу выбрали кем-то вроде начальника, — поспешила записать его дочь Марина, отмечавшая все новости в своем дневнике. — Правда, папа удивительный человек. Ко всем рабочим он относится как к равным. Папу качали на выборах, кричали «ура».

Назначенный Советом на должность председателя просветительной комиссии, Александр Афанасьевич тотчас же приступил к своим обязанностям. Он аранжировал для хора революционные песни 1905 года Я собрав вокруг себя церковных певчих и старших учеников Судакской начальной школы, стал готовить хор к первомайской демонстрации.

Незабываемо радостный, яркий, солнечный день Первого мая 1917 года! Александр Афанасьевич вышел из дому очень рано, чтобы быть на месте к открытию митинга. Пахло тополем, пылью, прибитой, утренней сыростью. Целыми грудями на базарных лотках лежали пионы... Босой мальчуган в розовой косоворотке раздавал пионы, и они заалели на груди солдат в бескозырках и принарядившейся слободской молодежи.

Длинноволосый студент в очках поднялся на бочку, служившую трибуной, и прочел воззвание Революционного комитета. Затем на бочку стали взбираться студенты, местные учителя, приезжие интеллигенты. Они говорили иногда неумело и даже непонятно, но переполнявшее их чувство свободы, страстное желание поделиться этим чувством передалось слушателям. Потом во главе с Александром Афанасьевичем и его хором толпа с песнями двинулась вниз по шоссе. Обойдя с первомайской демонстрацией окрестные селения, Спендиаров вернулся домой усталый, но не менее возбужденный, чем был утром, когда с запыленным, обожженным солнцем лицом шагал под красными знаменами. Отдохнув немного, он удалился в свой рабочий кабинет, а на следующее утро, поднявшись в гостиную, сыграл и спел сочиненный им в течение нескольких часов «Гимн Первого мая».

На рояле, покрытом индийским покрывалом, стоял букет шиповника. В открытые окна врвался соленый запах прибоа. Разместившись на диване, креслах, подоконниках, дети разучивали под аккомпанемент Александра Афанасьевича его гимн на им же сочиненные слова:

*Праздник светлый и свободный,
Славься, первый майский день!
Наш союз международный
Новым блеском ты одень.
Уж подходит год тридцатый
С той поры, как целый свет
Облетел напев крылатый:
«В этот день работы нет!»
Встаньте ж, братья, бодрой ратью
Все в ряды плечо с плечом!
Только дружно встать нам нужно,
Каждый враг нам нипочем.
Над Уралом и Кавказом,
Над Невой и над Днепром
Пусть наш голос грянет разом,*

Как весенний первый гром!

Шестого мая приехала из Петрограда Варвара Леонидовна, ездившая в столицу на похороны отца. Она привезла с собой уйму новостей. «Я видела на балконе дворца Кшесинской необыкновенного человека, — рассказывала она. — По внешности ничего особенного в нем нет — небольшой, рыжеватый, с бородкой, но он, несомненно, обладает огромной гипнотической силой, потому что на площади перед дворцом собираются толпы народа!..»

Разговоры о Временном правительстве, о Керенском, о появившемся в Петрограде «необыкновенном большевике» беспрестанно велись в те дни в спендиаровской гостиной. Александр Афанасьевич обычно отмалчивался, прищулив светлые глаза и задумчиво! поглаживая лысину. Ссылаясь на занятость, он удалялся во флигель, где у него работал «целый штат домашних переписчиков» — то есть дочь его и племянник Коля Чемберджи, длинный, худой подросток! который уже пользовался советами дяди в своих талантливых композициях.

Уткнувшись в нотную бумагу, они выписывали партии для судакского хора, Александр Афанасьевич готовил его к концерту в пользу Народной гимназии^[63]. С каждым днем росло число участников хора. Это были слободские девушки с цветами акации в собранных узлом волосах и обгоревшие на беспощадном солнце слободские парни. «Только узнает Александр Афанасьевич, у кого голос есть, тут же на улице подзывает и ведет в школу, где происходили наши репетиции, — рассказывала через десятки лет солистка хора Е.Г. Середа, — простой такой был, за это мы его и любили...»

Своим энтузиазмом Александр Афанасьевич привлек себе в помощь проживавших в то время в Судаке артистов и любителей. «Он всех нас сгруппировал вокруг себя, — рассказывал участник спендиаровского кружка скрипач Л. Радугин. — Сначала у нас не было специального помещения. Но зимой 1918 года в Судаке организовался Ревком, он состоял в большинстве своем из судакских рабочих, и нам предоставили зал ресторана реквизированной гостиницы. Здесь под руководством Александра Афанасьевича была построена сцена. Меня всегда удивляло, как мог он совмещать музыкальное творчество с интенсивной общественной деятельностью. Однажды я спросил его об этом, и он признался, что ему бывает иногда трудно собраться с мыслями. И все-таки, несмотря на энергичную работу в кружке и тяжелые условия гражданской

войны, он создал в этот период самое замечательное свое произведение — оперу «Алмаст».

При свете коптилки

К концу 1917 года завершился первый этап задуманной Спендиаровым работы — запись и отбор музыкального материала. К этому времени надежда на приезд Туманяна, назначенный на лето того же года, была окончательно потеряна. Перед композитором, мечтавшим приступить к сочинению, встал неразрешимый вопрос о либреттисте. Но как-то, наводя справки о больной артистке Эрарской, поселившейся осенью на одной из судакских дач, он узнал, что приехавшая с нею подруга, маленькая женщина с умными, слегка выпуклыми голубыми глазами и рыжеватыми волосами, — московская поэтесса Парнок.

«Это было уже в январе 1918 года, — пишет в своих воспоминаниях Людмила Владимировна Эрарская. — К нам кто-то тихо постучался. Открыв дверь, я увидела человека небольшого роста. Из-под серой фетровой шляпы глядели на меня приветливые глаза в роговых очках. «Здравствуйте, — сказал он, приподняв шляпу и улыбаясь. — Я бы хотел видеть артистку Эрарскую и поэтессу Парнок». Пригласив его войти, я сказала ему, что Софьи Яковлевны Парнок нет дома; Александр Афанасьевич покачал головой: «Ай-яй-яй, как досадно!.. И именно сегодня, когда я окончательно решил познакомиться!»

Продолжая вздыхать, он удобно расположился в кресле и стал с увлечением рассказывать актрисе о программе будущего концерта в пользу недостаточных гимназистов. «В это время вошла Софья Яковлевна. Александр Афанасьевич встал и, идя к ней навстречу, сказал: «Вы даже представить себе не можете, как я рад с вами познакомиться! И то, что вы живете в Судаке именно теперь, когда я мечтаю приступить к работе над оперой, для меня большая удача». Он протянул ей какую-то рукопись и, пока она ее читала, следил за выражением ее лица. «Тема очень интересная», — сказала Софья Яковлевна, отдавая ему рукопись. Александр Афанасьевич оживился: «Так вот, Софья Яковлевна, на эту-то тему я мечтаю сочинить оперу... И теперь все зависит от вас. Я предлагаю вам написать либретто».

С этого дня началось не прекращавшееся в течение всего процесса создания оперы сотворчество композитора и поэтессы. Драматургическая линия, образы героев, ритмический рисунок текста — все обсуждалось совместно.

Поэтесса приходила к Спендиарову ежедневно. Во флигеле было

неприятно. Закутанный в пелерину с капюшоном, похожий на кудесника, Спендиаров встречал ее словами: «Не снимайте пальто, Софья Яковлевна, здесь дьявольски холодно!» Горела коптилка. Ее слабый свет едва освещал стоящие у конторки фигуры поэтессы и композитора. В эти дни во флигеле звучала на скрипке яркая музыка вступления к песне ашуга. Затем стали слышаться много раз повторяемые музыкальные фразы самой песни, Еще не наступила весна, а закутанные энтузиасты, переставив ночник на пианино, уже распевали вновь рожденную арию:

В плен взяла певца с певучим сазом
Красота твоя.
Ранит сердце, опьяняет разум
Красота твоя...

Жизнь становилась все жестче. Запас дров и керосина, заготовленный осенью 1917 года, подходил к концу. Совершенно исчезли из продажи спички. Отсутствие даже элементарных условий для работы заставило композитора, всегда изолированного от хозяйственных забот, обратить на них сугубое внимание. Он изобрел способ «экономической топки печек» и педантично обучал ему домочадцев. В его компетенцию входили также коптилки, сделанные из банок и пузырьков, и зажигалки. Конструкции этих зажигалок он всерьез обсуждал с судакскими слесарями.

И все-таки ничто не могло остановить ход его работы. После горячей арии ашуга появились на свет две пленительные песни девушек-вышивальщиц. Спендиаров сочинил их весной 1918 года, памятной судачанам бурными событиями и чуть ли не ежедневной сменой власти.

Уже давно ходили слухи об оккупации немцами юга России. Но за пять дней до их прихода в Судак обрушились на местечко курултайцы^[64]. Вооруженные ножами, вилами, кольями, они шли потоком через цветущие сады, преследуя большевиков, не успевших укрыться^[65]. Хозяйничали они день, два... На третий их обратила в бегство кучка увешанных гранатами «анархистов», которые откололись от своей банды, чтобы попытать счастье на судакских дачах. Пьяные, душистые от выпитого одеколона, с пальцами, унизированными награбленными кольцами, «анархисты» преследовали курултайцев по тем же цветущим садам.

А через два дня пришли немцы. Полностью игнорируя все попытки немецкого командования сблизиться с именитыми судачанами, Спендиаров продолжал свою работу. «Бывало, придет к нам на террасу, — рассказывала

Людмила Владимировна Эрарская, — усядется на диван и, не сводя глаз с открывающегося перед нами вечернего пейзажа, говорит с широкой улыбкой: «А ну-ка, Софья Яковлевна, займемся-ка двумя делами: будем работать и любоваться закатом».

Подготавливался первый акт. Прежде чем приступить к его сочинению, композитор устроил просмотр уже написанных отрывков. «Хор исполнил песни девушек, а Марина — арию ашуга из оперы «Алмаст», — пишет в своих воспоминаниях Е.А. Герке. — Несмотря на то, что слушателей было немного и все они состояли из близких знакомых, волнение в доме началось еще накануне. Заметно волновался и Александр Афанасьевич. Шли последние репетиции. Александр Афанасьевич со строгим лицом слушал пение хора и Марины и был особенно требователен... В день концерта он давал указания, как расставить стулья, где расположиться хоровым исполнителям. Мы деятельно старались придать Марине взрослый вид. Сначала пел хор, потом Марина. Аккомпанировала учительница музыки детей Е.Н. Левицкая, тай как у Александра Афанасьевича болел палец. Он стоял у стены между исполнителями и слушателями весь поглощенный звучанием музыки».

Приступая к планомерной работе над оперой, композитору не надо было как-то особенно сосредоточиваться и что-то менять в образе своей жизни: он уже жил в ее сфере. В длинной цепи одинаковых подчиненных определенному порядку творческим дням пришли незаметно и те дни, когда из флигеля стали доноситься речитативы шаха и его вождей, величественная ария персидского деспота и бесконечно повторяемая музыка «Персидского марша».

Наступившая жара отнимала энергию даже у самых юных обитателей дома, а Александр Афанасьевич все писал, стоя у конторки, останавливаясь временами, чтобы напеть записанное или, «придвинув к себе прозрачную вазочку, жадно вдохнуть аромат роз.

В обеденное время за ним посылали детей. Они барабанили в окно и кричали: «Папа, обедать!» Он обращал на них невидящие глаза и, только когда вся семья была уже в сборе, появлялся на лестнице террасы — в чесучовом костюме, чистенький, прохладный, со светлым лицом, обращенным к морю.

Никто не замечал у него творческих мук, обычно вызывающих раздражение против самой маленькой помехи. Продолжая напевать сочиняемую музыку, он подавал карандашик четырехлетней дочери и, кротко подчиняясь ее требованию, рисовал ей лошадку^[66].

Затем он снова приступал к работе: писал, стоя у конторки, проверял

на скрипке написанное или, подсев к пианино, играл — то тихо, то с сотрясающей его тело мощью. Иногда он вдруг прекращал всякую деятельность и, опустив голову на грудь, медленным движением поглаживал лысину. Внешне спокойный, он бродил по комнате, останавливаясь около вазы с черешнями, заменявшими ему папиросы. Затем он выходил на терраску и, щуря глаза, смотрел на море.

Вся его жизнь была подчинена непрерывному творческому процессу. Находясь в обществе семьи, он обычно сохранял молчание отшельника. Но бывали случаи, когда, поднявшись на террасу в возбужденном состоянии духа, он говорил очень много и порою невпопад, так как словоохотливость появлялась у него не от потребности принять участие в разговоре, а под влиянием радости от музыкальной удачи.

Домочадцы засыпали под его музыку и просыпались с нею. Композитор оставался во флигеле до поздней ночи. Один за другим гасли ночники в большом доме. Звезды казались ярче, становился явственнее звон цикад, в зарослях петуний разгорались светлячки. Спендиаров бодрствовал. Закрыв глаза и тихонько себе аккомпанируя, он пел слабым, сипловатым, но необычайно проникновенным голосом:

Если ты ее пленить сумеешь,
Если гордым сердцем овладеешь,
Если покоришь прекрасную Алмаст,
Нам Татул без боя крепость сдаст... [\[67\]](#)

Поздняя осень застала композитора за сочинением «Молитвы персов». Целыми днями сидел он за фис| гармонией, извлекая из нее глубокие звуки органа.

Весь облик Александра Афанасьевича гармонировал в то время с сочиняемой им музыкой: сосредоточенный взгляд был обращен в себя, строгие черты сохраняли торжественное выражение.

В двадцатых числах ноября первый акт был закончен. В доме царил праздничное настроение. Приходили гости. Найдя себе партнера, Александр Афанасьевич играл с ним в четыре руки «Персидский марш», таинственно пригибаясь к клавишам на трио и яростно нападая на них в фортиссимо финальной части.

Постепенно непривычный праздный образ жизни начал тяготить композитора. И в то же время он откладывал со дня на день начало работы над вторым актом. Устав от длительного творческого напряжения, он долго

не мог найти в себе новые силы, чему способствовала и окружающая обстановка, которую он не замечал в период сосредоточенной работы. Уже появились признаки приближающегося голода, вызванного неурожаем и долгим хозяйничаньем немцев в Крыму, все ближе подходила гражданская война, и, пробуждая тревогу за особенно необходимый ему теперь завтрашний день, начиналась эпидемия сыпного тифа.

Ворча и охая, композитор бесцельно бродил по дому, придираясь к каждой мелочи. Упадочническое настроение привело его к потере веры в собственный талант. Желая почерпнуть ее в поощрении, он играл отрывки из первого акта оперы у знакомых, жадно ловя их похвалу.

«Вчера ко мне доносилась музыка «Алмаст», которую Вы играли и пели внизу, — писала ему Софья Яковлевна, всегда старавшаяся поднять в нем настроение, — и мне было очень грустно, что я не могу спуститься вниз и послушать как следует. Чем больше я слушаю «Алмаст», тем больше она меня пленяет. Мне очень грустно, что в Судак не ни одного человека, чьим мнением Вы могли бы дорожить как музыкант. Я уверена, что будь подле Вас кто-нибудь из Ваших собратьев по искусству, Вы бы сразу воспряли духом и, наконец, уверовали бы в то, что Вы можете написать настоящую, превосходную оперную музыку...»

Душевное возрождение, явившееся результатом длительного отдыха, пришло к композитору незаметно для окружающих. Казалось, еще только вчера он был удручен и, возвращаясь с репетиции хора, по-стариковски опирался на палочку. И вдруг во флигеле энергично зазвучали «Две песни девушек», а затем стало слышаться расплывчатое импровизирование, постепенно уточняющее контуры новой музыки.

Сделались более частыми встречи композитора с поэтессой. Сидя у конторки, они лихорадочно меняли строфы либретто в угоду музыкальному образу честолюбивой княгини. Летом началось разучивание с дочерью ариозо Алмаст. В кабинете было душно. Нестерпимо тянуло к морю. Следуя указаниям отца, дочь пыталась придать своему детскому голосу трагическую напряженность. Композитор подпевал ей то тихонько, то громко, стараясь заразить ее своим исполнительским темпераментом, достигавшим необычайной выразительности в роковом пророчестве «Джан гюлюм»:

*Плачет мать несчастная, —
начинали они вместе на пианиссимо.
Джан гюлюм, джан, джан, —
подхватывал партию хора отец.*

*Доченьку жалея,
Джан гюлюм, джан, джан,
Ожерелье красное,
Джан гюлюм, джан, джан,
Затянуло шею,
Джан гюлюм, джан, джан...*

Никогда еще в Судакe не было такого количества праздных людей, как летом 1919 года. Отмечая бурное наступление белой армии, они проводили время в увеселениях. Всюду звучали модные песенки Вертинского, салонная цыганщина, аргентинское танго.

Пользуясь скоплением денежной публики, Спендиаров усилил концертную деятельность кружка^[68]. Просветительная комиссия уже давно не существовала, но композитор продолжал обучать судакских рабочих искусству и даже мечтал создать для них музыкальную студию. «Подумайте только, — говорил он Л.В. Эрарской, — еще недавно мы могли наслаждаться только щами, приготовляемыми для нас Катей Середой, а теперь мы слушаем со сцены ее чудесное пение!»

Готовясь к концертам, он занимался с солистами дома. В сумерки, стараясь быть незаметной, проскальзывала к нему во флигель Катя Середа. Пряча грубые руки под парадной шалью, она становилась у пианино и сосредоточенно слушала драгоценные для нее замечания композитора.

Общение Спендиарова с судакскими бедняками и вошедшая в круг его обязанностей посильная помощь им стали в то время для композитора делом привычным. Нередко можно было видеть его возле слободских домишек.

Однажды утром он встретил по дороге в местечко Софью Яковлевну Парнок и Людмилу Владимировну Эрарскую. «Увидев нас, — пишет в своих воспоминаниях артистка Эрарская, — Александр Афанасьевич смутился и весело сказал: «Откедова это вы так рано?» — «Мы-то откедова, — строго ответила ему Софья Яковлевна, указывая на почту, — а вот вы откедова? Вы ведь обещали мне по утрам работать над оперой!» Не спеша Александр Афанасьевич вынул из бокового кармана записную книжечку и прочел нам длинный список «неотложных дел», подлежащих завершению, чтобы «со спокойной совестью» снова засесть за оперу. Надо было помочь многодетной семье купить корову, навестить больную ученицу, призреть старую татарку...»

Было чудесное душистое утро. С вершины холма, заросшего полынью

и розовым выюнком, доносилось женское пение в два голоса: «Ты, родимая моя матушка, в день денная моя печальница...»

«Дочитав список, — вспоминает далее Людмила Владимировна, — Александр Афанасьевич взглянул на нас своими светлыми, детскими глазами и сказал: «Ну что, Софья Яковлевна, вы теперь поняли, что ради этих дел стоило ненадолго отложить работу над оперой?» Софья Яковлевна молчала. Заметив, что в глазах ее не осталось и тени укоризны, Александр Афанасьевич улыбнулся и, распрощавшись с нами, зашагал по дороге».

Композитор и комиссар

Спендиаров дописывал второй акт оперы «Алмаст», когда шли кровопролитные бои на льду Сиваша. Над третьим актом он работал с огромными перерывами. События, ведущие к концу гражданской войны, убыстрялись и уплотнялись с каждым часом. Смерть вошла в быт: только вчера, вынув из сундука фрачные брюки, Александр Афанасьевич отдал их участнику любительского спектакля, не забыв упомянуть, что в последний раз он выступал в них в тифлисском концерте; а завтра участник любительского спектакля покоился в гробу, сраженный шальным пулей.

Осенью, приложив ухо к земле, можно было услышать грохот орудий. Отступившие было к северу части Красной Армии снова приблизились к Крыму. Бои шли на Перекопском перешейке. После падения укрепленной полосы за Перекопом началась паническая эвакуация белых. По дорогам затарахтели подводы. Кучи выброшенных «колокольчиков»^[69] разносились осенним ветром.

Дня через два в Судак вошли бойцы Красной Армии.

В рваных шинелях, с винтовками, болтавшимися на веревках, красноармейцы группами ходили. По судакским дорогам, добродушно разглядывая прохожих.

Двое из них, назвавшиеся квартирными, реквизировали кабинет Александра Афанасьевича под квартиру военкома бригады. Вскоре пришел и сам комиссар. Это был мужественный широкоплечий молодой человек с тяжелой маршевой походкой. Скользнув взглядом по пианино, скрипке и рукописям, он надвинул фуражку на гладкий лоб и, решительным движением затянув кожаный пояс, отказался от рабочей комнаты музыканта. Извинившись, он хотел уйти, но Александр Афанасьевич, тронутый уважением юноши к искусству, предложил ему поместиться в маленькой комнате рядом с кабинетом.

Он не отпускал его от себя весь вечер, радуясь ему, как некоему открытию, окончательно укрепившему его мысли и чувства. С готовностью удовлетворяя любопытство молодого человека, он рассказал ему о себе, о своей композиторской деятельности, после чего усадил его рядом с собой и сыграл самое весеннее из своих сочинений: восточный романс «К розе».

У комиссара Валентина Викентьевича Орловского был красивый бас. Александр Афанасьевич, постоянно искавший исполнителей для арий из «Ал-маст», воспылал надеждой найти в нем Надир-шаха. Можно

представить себе удивление домочадцев, когда из флигеля, где находились композитор и комиссар, раздалось арпеджио, распеваемое громким юношеским голосом.

Дружба композитора и комиссара крепла с каждым днем. Между тем музыкально-просветительная деятельность Спендиарова, начатая в 1917 году и не прекращавшаяся в течение всей гражданской войны, вновь получила общественное признание. Композитор был назначен председателем Судакского секретариата Феодосийского отделения работников искусства и сразу же приступил к созданию Музыкальной студии.

«Ему не нужно было как-то по-особенному, болезненно вращаться в советскую действительность, — пишет в своих воспоминаниях генерал Орловский, — он был готов с первых же дней служить Революции».

Возвращаясь с концертов-митингов, где после выступлений ораторов управляемый им хор пел «Интернационал», композитор призывал к себе комиссара и в беседах с ним старался постичь трудную действительность, из которой во что бы то ни стало надо было создать прекрасную жизнь.

«Мы могли говорить с большой откровенностью и прямоотой на любую тему, — пишет в тех же воспоминаниях генерал Орловский. — Говорили о происках Антанты, о борьбе с бандитизмом, о продовольственном положении страны, но чаще всего о культуре, о том, какую огромную работу придется совершить советской власти в области культурной революции. Своим пытливым умом он проникал во все подробности программы советского строительства»^[70].

Обыкновенно беседы кончались разговором о музыке. «Вспоминается, с каким вниманием он выслушивал замечания после проигрывания фрагментов оперы, — пишет далее Валентин Викентьевич. — В моменты вдохновения внешний мир для Александра Афанасьевича как бы не существовал. Он забывал про еду, мог разговаривать с Мариной, думая, что говорит с Татьяной... Выведенный общими усилиями из этого состояния, он начинал свои страстные нападки на собственность, которая, по его мнению, мешала всю жизнь его творческой деятельности...»

Все теперь встало на свое место, и можно было спокойно взяться за оперу.

Возвращаясь по вечерам домой, комиссар еще издали слышал музыку. В окошке, о которое билась раскачиваемая норд-остом ветка вьющейся розы, видна была фигура Спендиарова, закутанная в «плащ алхимика». Комиссар прислонялся лбом к стеклу. От мощных ударов пальцев композитора по клавишам сотрясались очки. Оставив пианино, Спендиаров

подходил к похжей на аналй конторке и, вооружившись острым карандашом, наносил на бумагу таинственные знаки. Боясь нарушить священнодействие, комиссар осторожно открывал скрипучую дверь своей комнаты и садился у горячей печки. Некоторое время он еще слышал сквозь стенку мягкие лирические мелодии, сменяющиеся «бурными порывами неведомых напевов», потом все смолкло. Со скрежетом поворачивался ключ в замке, раздавались мягкие шаги по гравий, стук в дверь и милый, учтивый голос, приглашающий комиссара «наверх, к дамам».

Голод

Основным качеством Александра Афанасьевича было чувство справедливости. Потому и различного рода трудности он принимал как естественные для переживаемого времени. Даже арест его, происшедший по недоразумению и длившийся три дня, не вызвал у него горечи. «Торопясь приветствовать Александра Афанасьевича в день выхода его из тюрьмы, — досказывала Людмила Владимировна Эрарская, — мы ожидали встретить его усталым, посеревшим, удрученным. Каково же было наше удивление, когда, пустившись со ступенек террасы, на которой расположились сопровождавшие его от самой тюрьмы слободчане, он подошел к нам беленький и невозмутимый, точно переживаемое нами всеми событие вовсе не коснулось его».

Все с тем же легким, открытым сердцем Спендиаров вернулся к общественной деятельности: он занимался со студийцами, выступал на концертах-митингах. Как вспоминает Л.В. Эрарская, однажды после «Хайтармы», сыгранной им на «бис», кто-то из публики крикнул: «Ну, а теперь валяй «Яблочко»!»

Начались трудности с питанием, классы перестали отапливаться. Продолжая работать в студии, Александр Афанасьевич старался поднять дух учеников и педагогов, а особо нуждающимся выхлопатывал пайки. Но пришло время, и все его усилия оказались тщетными. Жизнь поселка была парализована голодом, тяжело обрушившимся на Судак.

Первые ощущения его появились летом 1921 года. Запах готовящейся пищи стал отвлекать композитора от творческих мыслей. Особенную прелесть приобрел вкус хлеба. В кармане его потертого бархатного пиджака были припасены сэкономленные за обедом сухие корки, которые он грыз во время работы.

Лето выдалось засушливое, поэтому пугала зима^[71]. Необходимо было найти какой-то выход. Однажды композитору пришла в голову мысль заняться всей семьей ловлей крабов. «У них вкуснейшее, питательнейшее мясо!» — говорил он вполне серьезно, несмотря на дружный хохот, которым были встречены его слова. Идея сбора шампиньонов и других дикорастущих «предметов питания» была тоже забракована, так как ее уже давно реализовали судакские мальчишки. Оставалась надежда на корову. Ежедневно командирова дочерей за травой, Александр Афанасьевич и сам время от времени приносил ей крохотные пучки сухой люцерны.

Наконец пришел настоящий, достойный композитора выход. Спендиаров был приглашен в Симферополь на авторский концерт, что вызвало в экспансивном семействе бесконечные толки. Оно надеялось обеспечить гонораром Александра Афанасьевича чуть ли не весь Судак!

Композитор выехал в Симферополь в двадцатых числах сентября, и только через месяц, когда обеспокоенная его долгим отсутствием Варвара Леонидовна ввергла весь дом в паническое настроение, в ворота въехала подвода, на которой рядом с исхудавшим гастролером трясся пятипудовый мешок муки.

Не было конца радостным приветствиям и обгоняющим друг друга вопросам! Спендиаров отвечал на них как-то мимоходом. Он был увлечен рассказом об игре оркестра^[72].

Надо ли говорить о состоянии Александра Афанасьевича, когда на следующее утро он обнаружил, что привезенный им мешок муки похищен!

В тот же день он вступил в ряды самоохраны. Необходимо было объявить беспощадную войну грабителям. В старом пальто, висевшем на его исхудалой фигуре, в надвинутой на очки фуражке он ходил с боевой дружиной по ночным дорогам, то и дело отставая из-за тяжести берданки и спадающих с ног калош.

Ходил он и в лунные и в безлунные ночи, мимо покинутых дач без оконных рам и дверей, мимо унылых заборов с остовами пружинных матрацев, прикрывавших вместо похищенных на топливо вороте въезды в безмолвные сады.

В ночном освещении, на фоне темного моря картина запустения казалась фантастической. Спендиаров шел, напевая в такт шагам музыку «Сцены пиршества», которую дорабатывал в эти самые мрачные месяцы голодного года.

Быть может, не оставлявшее его в тяжелое время вдохновение и помогло композитору преодолеть все испытания.

Покинув кабинет, где плюшевая мебель и черные библиотечные шкафы покрылись дымчатым слоем сырости, он превратил в свою рабочую комнату спальню. И там тотчас же зазвучала пиршественная музыка.

Измощенный, посиневший от холода, от которого не спасали ни самодельные боты, ни теплая кофта Варвары Леонидовны, накинутая поверх пелерины, композитор играл с неистощимым жаром.

Он был на удивление спокоен и даже весел. Летом, когда на опустевшем птичьим дворе еще бродил красногорлый индюк, композитор следовал за ним по пятам, подражая его походке и злобному клекоту. Он передал все это в музыке «сцены шута». Исполняя ее младшим детям, так

как их непосредственное восприятие было лучшей проверкой правдивости образа, он изображал затем самого шута — «Индийского петуха», распластав полы пелерины и по-птичьи переставляя ноги.

Композитор был страстно увлечен пляской Алмаст, в которой старался передать кульминацию трагического образа княгини. Он ее сочинял все время: за обедом, когда, неожиданно запев, отталкивал от себя тарелку, или ложась спать. Потом дни и ночи раздавалась спотыкающаяся тема пляски пьяных воинов, перешедшая в зловещую музыку «Измены». Не оставалось уже ни одного мгновения для житейских раздумий и даже для ощущения болезни, которая постепенно охватывала хрупкий организм композитора и, наконец, свалила его с ног.

Отсутствие очков придавало глазам Александра Афанасьевича настороженное выражение. Он лежал в затихшей спальне у зеркального шкафа. В зеркале отражалось его красное от жара лицо. Когда Варвара Леонидовна властно переворачивала его, чтобы натереть спину скипидаром, он испускал стоны, в которых слышалась смертельная тоска. Позже он признался дочери, что во время болезни его неотвязно мучила мысль, что он может умереть, не закончив оперы.

Боязнь смерти сопровождалась у него страхом одиночества. Наяву и в беспамятстве он судорожно цеплялся за сидевших у его изголовья близких, как единственную связь с жизнью. В то же время он трогал их до слез чисто житейскими, обыденными вопросами: не проникнет ли мышь к кулечкам сахара и крупы, спрятанным для него в конторке, и не погибнут ли его крохотные запасы от сырости?

Никому из родных не верилось, что это страшно истощенное, с трудом дышащее тело преодолет крупозное воспаление легких. Но кризис миновал, и наступило выздоровление, сопровождаемое все усиливающейся тягой к творчеству.

Дул сумасшедший мартовский ветер. Выздоровевший композитор стал неузнаваем. С его потемневшего, сжатого сверхъестественной волей лица, казалось, навсегда стерлась улыбка. Сочиняя до поздней ночи, он почти не выходил из спальни.

Наступила последняя стадия голода. По пустырям бродили опухшие слободские дети, выскивая серо-зеленые листочки лебеды. Заправленный ею суп из остатков сухой картошки был единственным питанием и семьи Спендиаровых. Один Александр Афанасьевич ел зловонное мясо дельфина, от которого, несмотря на валившую с ног дистрофию, легкомысленно отказывались остальные домочадцы.

И вдруг море принесло спасение! Оно выкидывало на берег целые

пласты трепещущей хамсы. По всему полукругу пляжа, от Алчака до Генуэзской крепости, волны прибоя серебрились чешуей. Берег кишел народом. Всюду горели костры. У самого моря, придерживая рукой улетающую шляпу, суетился, покрикивая на собирающих рыбу домашних, порозовевший от солнца Александр Афанасьевич. Все было оставлено: и печальные мысли, и лихорадка работы, и мрак спальни. Голод в Судакe начал спадать.

Окончание оперы

Нахлынули житейские заботы. Обнаружилась острая нужда в платье и обуви. Стали обращать на себя внимание потоки воды, протекающей сквозь дырявую крышу. Появилась настоящая потребность в деньгах.

Варваре Леонидовне, всегда избегавшей разлуки с близкими, пришлось согласиться на отъезд старшей дочери. Она поступила на работу в Феодосийский ревком. Вслед за Татьяной, выхлопотавшей отцу давно обещанный охранной грамотой академический паек, выехал в Феодосию Александр Афанасьевич^[73].

Спендиаров поселился вместе с дочерью в мансарде дома Айвазовских, загроможденной сверху донизу беспорядочно наваленной друг на друга мебелью, работать было невозможно. Композитор приспособил для своих занятий бывшую «людскую» кухню. Айвазовских, расположившись с рукописями на обшарпанной плите. Там было тихо и прохладно.

Но возникла неожиданная помеха: из всех щелей стали вылезать тараканы. Они расползались по рукописям и, шевеля усами над непросохшими нотными знаками, оставляли за собой чернильные следы.

Осенью приехала Варвара Леонидовна. За короткое время ее пребывания в Феодосии унылая мансарда превратилась в уютный уголок. Стены скрылись под картинами, на полу запестрели ковры... Фарфоровые вазы украсили скромный стол композитора и привезенное из Судака пианино, на котором мирно тикал метроном.

Александр Афанасьевич благодушествовал. Отдыхая от напряженной работы, он присутствовал на уроках кулинарии, которые Варвара Леонидовна давала второй дочери, приехавшей в Феодосию для ведения хозяйства. Зимой, когда задули норд-осты, вгоняя в трубу клубы едкого дыма, он дотошно повторял ей оставшиеся в его памяти правила: «Порядочные кухарки, — говорил он менторским тоном, взясь с сырыми дровами, едва тлевшими в «буржуйке», — основательно моют продукты, прежде чем приступить к готовке...»

Становилось все холоднее. Пришлось внести в помещение замерзавший на лестнице бачок с водой. Александр Афанасьевич поставил его у своего изголовья и в первый же вечер, приняв его по рассеянности за ночной столик, положил на водную гладь очки. В их поисках принимали участие чуть ли не все жильцы старого дома!

Как только очки нашлись, у композитора появились новые поводы для беспокойства. Его угнетали закопченная роскошь вокруг него, холод, дым, чад, а главное — сомнение в преодолении последних трудностей, которые не переставали мучить его все время работы над четвертым актом. Даже в часы напряженной работы над оперой его лицо сохраняла страдальческое выражение.

Оно менялось только по вечерам, когда на «огонек композиторского чердака» приходили феодосийские артисты. Александр Афанасьевич встречал их, все такой же печальный, с неразгладившимися морщинами уныния на слегка обрюзгшем лице. Но, натолкнувшись на еще больший упадок духа, вызванный у его собратьев отсутствием заработка, он героически напускал на себя бодрость, и репетиции к бесплатным концертам проходили оживленно и весело^[74].

Однажды днем композитор сидел на корточках около растапливаемой «буржуйки». И вдруг он увидел над собой загоревшее на свежем ветре лицо военкомбрига Орловского. Уже давно переведенный в степную часть Крыма, комиссар заявил о себе в глухую пору голода, прислав семейству композитора с трудом добытый мешок овса. Теперь он внимательно смотрел на Александра Афанасьевича, желая понять по изменившемуся выражению его лица, подвинулась ли хоть на сколько-нибудь его работа над оперой.

Александр Афанасьевич по-хозяйски засуетился. Он тотчас же заговорил о «гениальном какао», которое научился готовить особенным, им самим изобретенным способом. Угостив комиссара, он пригласил его в «кабинет». Судя по прикрытым векам, композитор мысленно готовился к длинной тираде. Но внезапно лицо его покрылось краской раздраже, — ния, он резко поднялся с места и, нервно шагая по комнате, разразился потоком горьких слов.

Чем острее и выразительнее становились его жалобы, тем резче звучала в них потребность в убедительном отпоре.

Он начал с «нерасторопности» феодосийских учреждений, затем обрушился на ОХРИС^[75], призванный заботиться об артистах и, на его взгляд, не ударивший палец о палец. Понизив голос и выжидательно взглянув на комиссара, композитор добавил конфиденциальным тоном:

— Боюсь, что наши надежды на то, что искусство станет достоянием народа, не скоро сбудутся...

Пришла очередь говорить комиссару.

— Борьба с голодом успешно завершена, — сказал он. — Теперь

можно бросить все силы на культурную революцию. В начале года крымскому правительству будут отпущены большие суммы на народное образование. Значение крымской интеллигенции несказанно возрастет... — Он встал с места и, одернув энергичным движением гимнастерку, продолжал: — Сейчас мы боремся за ликвидацию неграмотности в армии. Красноармейцы, которые еще недавно вместо подписи ставили крестик, самостоятельно пишут письма домой. В батальонах проводятся научно-популярные лекции, беседы о значении музыки. Мы готовим к строительству новой жизни сотни, тысячи людей! Через несколько лет вы не узнаете советской жизни, Александр Афанасьевич, потерпите немного.

Он говорил твердо и убедительно. Стоявшая за плитой дочь композитора вся превратилась в слух. «Вчера вечером был у нас Валентин Викентьевич Орловский, — записала она на следующий день в дневнике. — Я надела красный фартук, засучила рукава и начала готовить оладьи. Вышло что-то адское: дым, чад, пересоленные лохмотья оладий... Папа охал: «Ах ты, боже мой, нужно ж было тебе!..» Но мне было все равно. Я слушала, что говорил военкомбриг. Он такой свежий, крепкий... Он сидит только на стуле — не любит разваливаться на диване. Никогда не забуду этот вечер: оладьи, лампочка в красном колпаке, хризантемы перед зеркалом и крепкий голос строителя нового мира».

Спендиаров слушал, задумчиво поглаживая привычным жестом щеки и подбородок.

— А я-то надеялся, — разочарованно произнес комиссар, — услышать новые отрывки из вашей оперы...

Лицо Александра Афанасьевича приняло вдруг веселое и вместе с тем таинственное выражение, какое бывало у него в тех случаях, когда он готовился сделать сюрприз. Ничего не сказав в ответ, он сел за фортепьяно.

В воображении комиссара возникли чугунные ворота суданского сада и звуки музыки, возбуждившие в нем впервые после жестокой обстановки войны ощущение красоты.

Начало третьего акта было ему знакомо. Спендиаров играл дальше. Крайне возбужденный, подняв кверху высвободившийся из-под сброшенного капюшона подбородок, он играл, пел и объяснял исполняемое. В воображении слушателей возникал целый калейдоскоп образов.

После грациозно танцующих девушек, а затем мужчин, резко выбрасывающих в танце ноги, появился, предваряемый музыкой, похожей на злобный клекот, «Индийский петух». Исполняя куплеты шута, Спендиаров растягивал губы и, высоко подняв брови, пел плоским

ГОЛОСОМ:

*Индейский петух
Губы надул,
От спеси распух
И хвост развернул...*

Когда появились у окна князь и княгиня, он запел голосом, полным неги:

*Алмаст, какая тишина,
Как пахнет чебрецом и розой!
Алмаст, скажи, какую грезой
Душа твоя омрачена?*

Пляску Алмаст, обезумевшей от противоречивых чувств, композитор играл так напряженно, что становилось страшно за его слабое сердце... Спотыкаясь и падая, пустились в пляс предательски опьяненные княгиней воины. Затем наступила темнота. Но вот Алмаст взмахнула светильником, и после неравной борьбы во мгле торжественно въехал на коне хитроумный победитель.

— Теперь четвертый акт, — объявил композитор, и на воображаемой сцене возникли графически отчетливые фигуры двух честолюбцев.

Спендиаров спел их диалог с неподражаемым драматизмом. Комиссар слушал напряженно. Тщетно напоминая о действительности, остервенело булькал чайник на «буржуйке».

— Осталось работы не больше чем на месяц, — сказал композитор, отложив рукопись и нахлобучив капюшон.

— Так вы же герой, Александр Афанасьевич! — восторженно воскликнул комиссар.

Весной «композиторский чердак» опустел. Спендиаров вернулся в Судак, где природа издавна располагала его к творчеству. В двух шагах от дома зеленью и золотом переливалось море. Под окном рабочей комнаты алел первый бутон розы.

Весь дом был насторожен в эти знаменательные Для его обитателей дни. Младшим детям был запрещен вход в кабинет. Стараясь привлечь к себе внимание отца, так долго бывшего в отсутствии, они подходили на

цыпочках к окну, у которого он работал за конторкой.

*Я знаю, на земле мне нет прощенья,
О похититель счастья моего!
Отрада мне одна осталась — мщенье!
Не за себя я мщу, а за него... —*

пел композитор с выразительностью, которой могли бы позавидовать все без исключения певицы, исполнявшие партию Алмаст.

В течение нескольких дней слышался лейтмотив рока, разрабатываемый в финале: каждая его фраза была предрешена композитором еще в разгаре его тяжелой болезни. Затем из кабинета стали доноситься грустные, похожие на музыкальные размышления наигрывания уже давно написанных отрывков. Невозможно было угадать по поведению композитора, еще находившегося во власти инерции творчества, что самый большой труд его жизни закончен. Зато безудержная радость охватила свидетелей его героической работы.

Первая сюита из оперы «Алмаст»

Прошло около месяца, и Спендиаров снова стоял у конторки, мурлыча что-то себе под нос и каллиграфически выводя ноты. Задавшись целью поделиться с публикой своим творением, он взялся за инструментовку отдельных отрывков из оперы. Настроение у него было беззаботное и радужное, как и подобает, человеку, донесшему свою ношу до конца. Мечты его, направленные к единственной цели — успешному! завершению возложенного на себя труда, теперь осуществились, и он строил планы на будущее с экспансивностью юноши, начинающего жизнь.

Скорбное известие о смерти Ованеса Туманяна, последовавшей в конце марта 1923 года, изменило ход его мыслей, устремленных к встрече с автором «Тмкаберди арум». Его неудержимо потянуло к Глазунову. Но о нем вспомнили ялтинские друзья-музыканты. Они предложили ему через курортное управление авторский концерт.

Был уже вечер, когда Александр Афанасьевич прибыл в Ялту. В синюю дымку сумерек уходили белые пятна дворцов и полосы улиц. Спускаясь по трапу, композитор старался различить среди столпившихся на молу ялтинцев своих прежних знакомых. И вдруг они окружили его — постаревшие, в потертой одежде, живое воплощение трудного времени, отделившего прошлое от настоящего.

На следующий день друзья пришли к нему музицировать. «Мы все были свидетелями его мучительных поисков сюжета для оперы, — рассказывал впоследствии дирижер А.И. Орлов, — поэтому нам не терпелось услышать новое сочинение Александра Афанасьевича. Исполнители были налицо. Александр Афанасьевич и пианист-любитель Петр Иванович Веденисов сыграли в четыре руки симфонические отрывки из оперы, а постоянный исполнитель романсов Спендиарова Магит напел арии. Сложность каденций в песне ашуга вызвала сомнение в возможности ее исполнения...»

Но вскоре они рассеялись.

Вторую кровать в номере композитора занял приехавший в Ялту на гастроли артист Большого театра С.П. Юдин.

«Не успели мы познакомиться, — рассказывал через много лет Сергей Петрович, — как Александр Афанасьевич заявил, что ждал меня «как манны небесной». «Я, видите ли, написал оперу, — сказал он, сделав ударение на последнем слове, — и вот одна ария вызывает у меня

сомнение». Он достал рукопись и, поставив ее на пюпитр рояля, сказал тоном, в котором чувствовалось уважение ко мне как к артисту: «У меня к вам покорнейшая просьба, Сергей Петрович, не попробуете ли вы ее спеть?»

На следующий день тут же в номере я исполнил песню ашуга со всеми каденциями. Александр Афанасьевич был доволен. Он сказал: «Теперь я успокоился».

Удивительно приятное впечатление произвел на меня этот простой человек, располагавший к доверчивости и откровенности. Однажды, когда мы оба лежали в постелях, я признался ему в своем ялтинском увлечении. Выслушав меня очень серьезно, он сказал с удивившей меня твердостью: «Советую вам немедленно уехать. Остерегайтесь подобных чувств. Берегите семью. Когда-то и у меня здесь было сильное увлечение, но я взял себя в руки и бежал от него...»

Прошрое, вызывая безотчетную грусть, тяготело над Спендиаровым в дни пребывания его в Ялте. О нем напоминали шелест деревьев в городском саду, плеск волн о стены «Поплавка» и сами ялтинцы со знакомыми лицами и забытыми именами, останавливавшие его на каждом шагу словами: «А помните, Александр Афанасьевич?..»

Когда он пришел в первый раз на репетицию, прошрое обступило его со всех сторон в лице старых оркестрантов. Их «а помните, Александр Афанасьевич?» не смолкало до тех пор, пока композитор не постучал о пюпитр дирижерской палочкой, возвращая музыкантов к настоящему.

Отвлечься от музыкального действия было уже невозможно. «Как только мы начали играть, — рассказывал гобоист Митин, — мы почувствовали в Спендиарове пламенного творца. Он творил вместе с нами, подчиняя нас своей огромной творческой силе и безраздельно властвуя над нами. Это был уже не тот мягкий, добрый человек, который до начала репетиции с сердечным участием выслушивал наши рассказы о пережитом. Это был неумолимый тираня

Он не потерял себя в годы лишений — напротив, душевные силы его несказанно возросли. Это поняли и музыканты, и бывшие соратники его по музыкально-общественной деятельности, и вся публика — старая и новая, переполнявшая Стахеевский сад, где состоялось его выступление^[76].

«Невероятный был концерт, — вспоминал дирижер Орлов. — Успех был громадный! Собралась масса народу: жители татарских деревень, ялтинцы, приезжие...»

Устремленный во время исполнения «Атаки» вперед, азартный, неумолимый, композитор не обернулся на взрыв рукоплесканий,

раздавшийся после того, как музыка отзвучала. Весь как-то сникнув, он взялся рукой за сердце. В оркестре засуетились. До первых рядов донесся запах валерьяновых капель, а через мгновение, когда публика была успокоена властным жестом пришедшего в себя дирижера, зазвучала ликующая музыка «Победоносного возвращения Татула».

В перерыве между двумя отделениями Спендиаров принимал приветствия ялтинцев. Скользя усталым взглядом по лицам выступающих, он, казалось, не узнавал себя в блестящих метафорах, которыми были пересыпаны их речи. Но, проникнутые неподдельной сердечностью, речи эти постепенно оживили композитора. Внимательно выслушав поднявшегося на эстраду старого оркестранта, он заключил его в свои объятия.

«Маэстро, — начал оркестрант столь тронувшую композитора речь, — мы, артисты-музыканты, счастливы тем, что на нашу долю выпала честь исполнить в первый раз под вашим личным управлением последнее ваше выдающееся произведение.

Вы не только прекрасный музыкант, талантливый композитор, творения которого мы любим, но и прекрасный человек. Нежность, разлитая в ваших звуках, вытекает из нежной вашей души.

Те моменты, которые провели вы с нами в черновой работе на репетициях ваших произведений, не забудутся нами. Эта любовь, эта пламенная любовь к музыке, вера в магическую ее силу спаяла нас с вами, дорогой маэстро, на долгие годы.

Слава большому художнику, гениальному композитору, прекрасному маэстро. Слава!...»

По давно установившейся традиции новое сочинение Спендиарова, исполненное впервые в Ялте, должно было во второй раз прозвучать в Петрограде. Подчиняясь ей, Александр Афанасьевич выехал в середине ноября в Петроград.

Был мокрый, хмурый день, когда потертая пролетка остановилась у подъезда дома № 10 по Казанской улице. На запорошенных снегом ступенях не видно было следов человеческих ног. Александр Афанасьевич поднялся по черной лестнице. Выпустив на лестницу кухонный чад, ему открыл сам Глазунов.

Друзья обнялись, не обмолвившись и словом о перемене, происшедшей с ними за годы разлуки. По неосвещенному коридору, в котором оба натыкались на мебель, сундуки и горы нот, Глазунов провел Спендиарова в единственную теплую из оставшихся у него после самоуплотнения комнат.

Музыканты уселись за маленький круглый столик.

Чокаясь с другом и не спуская с него заботливых глаз, Александр Афанасьевич выслушивал его жалобы на хроническую усталость и на полную невозможность сосредоточиться, чтобы закончить задуманные сочинения.

Воспользовавшись учтивым вопросом Александра Константиновича о здоровье Варвары Леонидовны, Спендиаров попытался развлечь его рассказами о судакских происшествиях. Но Глазунов не оживился. Александр Афанасьевич перешел на тему о Петроградской консерватории и упомянул о музыкальных вкусах современной учащейся молодежи. В глазах Александра Константиновича зажегся мрачный огонек. Огонек превратился в пламя, когда Глазунов заговорил об опасности для отечественной музыки со стороны ультралевых течений. На его одутловатом лице появились красные жилки, прядь волос прилипла к вспотевшему лбу.

Наконец наступил момент, о котором Александр Афанасьевич не переставал мечтать в дни разобщения Крыма с севером, когда его единственной советчицей была Софья Яковлевна Парнок. Оба композитора сели за фортепьяно, и способность Александра Константиновича к отдаче себя нашла свое выражение в страстном увлечении, с которым он принял новое произведение друга.

Все, кто встречал Александра Афанасьевича в эти пасмурные ноябрьские дни, восхищались его немеркнувшей жизнерадостностью.

— Он словно солнышко освещал нашу квартиру, — рассказывала дочери Спендиарова прикованная болезнью к постели Елена Павловна Глазунова, — в его присутствии даже Сашенька становился веселее.

Навещая старых знакомых, Спендиаров оставлял им билеты в Петроградскую филармонию, где должно было состояться его концертное выступление. Они запомнили и рассказали автору этой книги все подробности петроградского концерта Спендиарова.

Несмотря на объявление в афишах: «Зал отапливается. Верхнее платье снимать обязательно», в бывшем Дворянском собрании было так холодно, что приходилось кутаться в порыжелые меха и ставить замерзшие ноги на перекладыны передних кресел. В первом ряду, у самого дирижерского пульта, сидели Глазунов, Налбандян и Оссовский. Неподалеку от них — Штейнберги и Софья Яковлевна Парнок. В середине зала, где благодаря акустическим условиям особенно хорошо звучала музыка, ее сосредоточенно слушал Жорж Меликенцов — постаревший и сильно похудевший, отчего его большие черные глаза казались еще больше и

печальнее. После «Трех палм» исполнялся «Персидский марш». Как вспоминал потом Налбандян, Глазунов шепнул ему на последних аккордах: «Какая прелесть Спендиаров, какой аромат в его музыке!»

И вдруг Александр Афанасьевич стал клониться на стоящий рядом пульт скрипачей, тотчас же вскочивших, чтобы оказать ему помощь. Публика видела, как вслед за Спендиаровым, уведенным под руки двумя оркестрантами, в дирижерскую комнату прошел Глазунов. В зале зашелестел беспокойный шепот. Ничего утешительного не сулило мрачное выражение лица Александра Константиновича, спустившегося по ступенькам эстрады, чтобы вновь усесться на свое место. И вдруг в дверях дирижерской появился бодрый, широко улыбающийся Александр Афанасьевич.

«Вчера состоялся мой концерт в филармонии и прошел с выдающимся успехом, — писал он наутро Варваре Леонидовне. — Такого горячего приема со стороны публики я, пожалуй, в Петрограде еще не имел. Особенное впечатление произвела сюита из оперы «Алмаст», которая звучала грандиозно».

Он не сообщил жене о случившемся обмороке, опасаясь, чтобы, вспомнив о запрете тифлисских врачей, она не помешала его дальнейшим дирижерским выступлениям. Чувство самосохранения, овладевшее Спендиаровым во время сочинения «Алмаст», покинуло его после окончания оперы. Приехав в Москву, где должен был состояться симфонический концерт из его произведений, Александр Афанасьевич был так слаб и беспомощен, что, путаясь в полах длинной шубы, с трудом передвигался в сутолоке улиц. Но не прошло и месяца, как он снова стоял за дирижерским пультом, выступая на этот раз перед московской публикой, среди которой его дочь разглядела Есенина, устремившего на композитора внимательный взгляд, и рядом с ним — Айседору Дункан.

Сбежать по лестнице бельэтажа, чтобы выразить — свои чувства отцу, было в то время для дочери композитора делом одной минуты. Но, достигнув дирижерской, она остановилась на пороге. Комната была переполнена московскими коллегами Александра Афанасьевича, окружившими его со всех сторон, выражая свое восхищение^[77].

С этого дня ей удавалось встречаться с отцом только в гостях у Ф.М. Blumenfelda, где после воскресного обеда с традиционной индейкой друзья предавались страстному музицированию. Все остальное время композитор знакомился со столичной музыкальной жизнью.

Дочери хорошо запомнился образ отца в трагический день похорон Ленина. Она зашла к Александру Афанасьевичу по дороге на Красную

площадь, куда устремились огромные толпы народа. Спендиаров сидел в столовой, облокотив левую руку на стол и безжизненно опустив правую. Одетый в шубу и меховую шапку, он собирался на похороны.

Был хоть и безветренный, но небывало холодный день. Несмотря на двухчасовой затор на Театральной площади, композитор не проявлял нетерпения. На его меховой шапке и поднятом воротнике шубы застыл иней, запушивший также брови и усы. Дочь напомнила отцу о недавно перенесенном воспалении легких. Обняв его, она пыталась насильно увести его домой. Но он точно прирос к земле — тяжелый, неподатливый, погруженный в глубокое безмолвие...

Перед отъездом. Путешествие

«Москва 18 марта 1924 года.

Дорогой Александр Константинович!

...Я застрял в Москве потому, что ждал возвращения с Кавказа М.М. Ипполитова-Иванова, который обещал переговорить обо мне с главой правительства Армении. Неделю тому назад Михаил Михайлович вернулся, и на основании сообщенного им мне результата своих переговоров я решил по окончании инструментовки оперы выехать в Армению...

Искренне любящий тебя

А. Спендиаров»^[78].

Задержавшись в Москве еще на некоторое время, композитор стал часто бывать в Доме культуры Советской Армении, помещавшемся в памятном ему по дням юности здании Лазаревского института.

В марте там состоялся концерт из его произведений. Но и после концерта, который прошел с большим успехом, Спендиаров продолжал постоянно бывать в Доме культуры и часами беседовал с молодежью о музыке. По словам профессора Московской консерватории М.Н. Тэриана, сына знакомого Спендиарова по нерсесовским журфиксам, «одно присутствие лучезарного Александра Афанасьевича в Доме культуры стимулировало участников будущего Квартета имени Комитаса к развитию их только что начавшейся деятельности».

Композитор был так увлечен предстоящей поездкой в Армению и говорил о ней с таким истинно юношеским пылом, что даже Варвара Леонидовна уверовала в будущее благополучие семьи, когда, вернувшись в апреле в Судак, он посвятил ее в свои планы.

Незабываемы эти счастливые, светлые месяцы перед отъездом Александра Афанасьевича в Эривань!^[79] Сам виновник расцветших надежд присоединялся к собиравшейся у него в саду компании лишь тогда, когда его вызывали из рабочего кабинета, чтобы участвовать в групповых снимках. Но кто из оставшихся в живых обитателей «Спендиариума» не начинал своих рассказов о лете 1924 года с воспоминаний о «миле Александр Афанасьевиче»!

Одни запомнили его в лунные вечера, когда, пододвинув к открытым окнам кабинета скамейки, они с волнением слушали его импровизации.

Другие — в жаркий день: держа за веревку черную корову, повадившуюся обглаживать его любимый розовый куст, он с выражением жалости на озабоченном лице отводил «голодное животное» в коровник.

«Спендиариумцы» запомнили Александра Афанасьевича и в состоянии тревоги из-за отсутствия известий из Армении. Вечером, когда все собирались в саду и кусты и деревья таяли в густеющих сумерках, Спендиаров незаметно появлялся на садовой площадке и, посидев, сутулясь, на круглой скамейке, так же незаметно исчезал в темноте.

Те, кто оставался в Судаке до осени, запомнили, какая поднялась в доме невообразимая суматоха, когда известия из Армении, наконец, пришли. Подготовка к отъезду композитора длилась чуть ли не до 9 октября, и, наконец, Спендиаров и две его дочери, Марина и Елена, поднялись на борт «Дельфина». В Феодосии они пересели на пароход «Ленин». Он заходил во все порты, даже самые малые, и стоял бесконечно долго.

На палубе среди осетин в небрежно накинутых на одно плечо черных бурках, абхазцев в белых черкесках и войлочных шляпах, грузин в башлыках, картинно драпирующих их головы и плечи, мелькала фигура Александра Афанасьевича. То и дело он подзывал к себе дочерей, чтобы указать им на чаек, несущихся с резким криком за пароходом, или на алые снежные вершины за темной грядой близких гор...

В Тифлисе, где каждый уголок вызывал у композитора теплые воспоминания, Спендиаровы провели несколько часов. Затем они сели в эриванский поезд.

Это было вечером. Расстелив на полках судакские постели, девочки приготовились ко сну. Александр Афанасьевич бодрствовал, сидя около наваленных друг на друга корзин и чемоданов. Он боялся пропустить Айрум — первую станцию на армянской земле.

Еле брезжил рассвет, когда он разбудил дочерей: «Девочки, проснитесь! Это и есть горная страна Лори, куда мы должны были поехать с Туманяном!» За окном, еще неясные в рассветных сумерках, поднимались мохнатые горы, то приближаясь к поезду, то отступая вдаль. Взошедшее солнце зажгло их красными, желтыми, огненными красками осени.

Горы отдалились. Поезд мчался по каменистому ширакскому плато, лишь кое-где желтеющему полосками опустевших полей. Александр Афанасьевич продолжал любоваться ландшафтами Армении. Как вдруг, вызвав у него благоговейный восторг, в окне вагона появился древний Арарат. За его величественным контуром стала постепенно вырисовываться конусообразная вершина его младшего собрата. Александр Афанасьевич

стоял у окна, защищая рукой глаза от яркого солнца. Вот обе вершины выстроились рядом, сияя сквозь голубоватое марево дали. Воздух становился все теплее и теплее. Потянулись тронутые осенней ржавчиной виноградники. В их гуще замелькали красные платки крестьянок. В вагоне началось движение. Вдоль полотна железной дороги убегали плоскокрышие дома, группы домов вырастали в город...

— Подъезжаем к Эривани, — взволнованно сказал Александр Афанасьевич. — Девочки, собирайте вещи.

В Эривани

На вокзале их встретили представители Наркомпроса и консерватории. Вещи и «дети» были заботливо погружены в фаэтон. Состояние взволнованности не покидало композитора. Он приходил в восхищение от плоскокрыших домиков, выстраивающихся по сторонам ухабистой дороги, от яркой раскраски винограда и персиков, лежащих на фруктовых лотках, и оттого, что кучер, которого он наугад назвал Мкртыч, и в самом деле оказался Мкртычем.

— Подумайте, какое необыкновенное совпадение! — восклицал он, обращаясь к сопровождавшим его. — Я ведь понятия не имел, что его зовут Мкртыч!

На первое время семейство устроил у себя С.И. Абовян, ютившийся с женой в одной тесной комнатке. Среди гостей, приглашенных им на завтрак в честь приезда композитора, Александр Афанасьевич узнал бывших членов Армянского музыкального общества, которые немало способствовали ему в приискании материала для оперы. Он не преминул напомнить им об этом. Седовласого Романоса Меликяна он назвал своим «чичероне в скитаниях по Тифлису». Спиридону Меликяну, как рассказывает об этом сам Спиридон, заявил, что, не будь у него его записей ширакских песен, опера «Алмаст» не была бы написана.

Казалось, он забыл о своей собственной работе над оперой — с такой настойчивостью подчеркивал заслуги причастных к ней людей и так горячо благодарил всех тех, кто выказывал заботу о будущей постановке «Алмаст»^[80].

Торжественные тосты оставляли композитора равнодушным: он задумчиво раскатывал хлебные шарики на скатерти. Зато сколько он проявил горячности и веры в возможность быть полезным родине, когда, ответив на вопросы присутствовавшего на завтраке журналиста, заявил, что «был бы очень счастлив, если бы ему удалось стать как можно ближе к руководству музыкальной и вообще культурной жизнью Армении».

Была середина октября — лучшее время в Эривани. Листва деревьев на высоких холмах окраин соперничала в расцветке с яркими плодами.

На следующий день по приезде Спендиаров в Эривань его пришел приветствовать Мартирос Сергеевич Сарьян. Они уселись на террасе, погруженной в тень. Говорили вполголоса; и казалось, что их легко льющаяся беседа об Армении началась уже очень давно и никогда не

кончится. В тот же день они пошли осматривать город. И с тех пор ежедневно в часы, когда терраса еще была погружена в тень, Мартирос Сергеевич заходил за своим новым другом, и они бродили по Эривани, ведя тихий задушевный разговор.

Город был еще в те годы невелик: в конце каждой улицы, ведущей на юг, открывался вид на Арарат. Художник указывал композитору на мерцающую под осенним солнцем снежную вершину, и, прервав беседу, тот останавливался в восхищении.

Острый глаз Мартироса Сергеевича Сарьяна помог Спендиарову в течение нескольких дней охватить весь облик старой Эривани: поэзию ее фонтанов, вокруг которых толпились тюрчанки в белых покрывалах, великолепие форм и красок восточного базара...

Следуя за Сарьяном, он впервые увидел быстротечную Зангу, заранее представив себе, по его описаниям, ее зеленые воды, искрящиеся белоснежной пеной. В тот день художник и композитор направлялись к гидростанции. Она была еще далека от завершения. Но какими величественными показались Спендиарову ее покрытые лесами стены, когда Сарьян, прибывший одним из первых в Советскую Армению, рассказал ему о своей великой радости при виде первых булыжников мостовой.

Он рассказывал композитору о первых спектаклях драматического театра, о первых занятиях драматической студии, и после его рассказов Александру Афанасьевичу казались особенно значительными лица основателей всего первого, встречавшиеся ему на улицах Эривани.

Во многих из них он узнал своих прежних знакомых. Однажды подошли к нему два молодых архитектора — в прошлом участники хора тифлисской семинарии. Когда он появился в Государственном драматическом театре, его заключил в свои объятия Мамикон Артемьевич Геворгян — тот самый подросток Макоша, который приносил влюбленному Лёне записочки от Кати Нерсесовой.

Встречал он уже упомянутых членов тифлисского Армянского музыкального общества, членов Петербургского и Московского землячеств... Они жили по четыре человека в одной комнате, и порой канцелярские столы заменяли им кровати. Мог ли Александр Афанасьевич пожаловаться на отсутствие жилища, подрывающее его силы? Когда комната была ему, наконец, предоставлена, он был далек от мысли, что свой ордер ему передал альтист Котляревский, знакомый ему с давних ялтинских времен.

Переезд осуществился еще до зимы. За нагруженной вещами

скрипучей арбой рядом с композитором следовал Мартирос Сергеевич Сарьян. Был солнечный осенний день. В памяти художника запечатлелись медные чинары у голубого купола мечети и оранжевые тыквы на увешанных красным перцем плоских крышах Конда^[81].

Старинные ворота усадьбы Мелик-Агамаловых, возле которых остановилась арба, своим сходством с воротами феодального замка вызвали у композитора ощущение далекого прошлого. Оно сделалось еще острее при виде безмолвного слуги, который проводил его к «госпоже», и самой «госпожи» с тяжелой золотой цепью на старческой шее. Но когда на пороге его будущей комнаты появилась юная невестка «госпожи», композитор снова вернулся к настоящему.

Обзаведясь с помощью молодой хозяйки необходимой ему мебелью, Спендиаров решил воспользоваться уединенностью усадьбы, чтобы спокойно заняться инструментовкой оперы. Но уединиться для творческой работы, когда кругом бурлила жизнь, оказалось совершенно невозможным. Все чаще поки-. дал он свое жилище и, опираясь на палочку, спускался в консерваторию. Наконец наступило время, когда композитор стал выходить из дому рано утром № возвращаться только поздно вечером, удивляя своим бесстрашием обитателей усадьбы.

Ученики

Начался период создания первого армянского симфонического оркестра.

«Выслушав предложение Александра Афанасьевича о создании оркестра из консерваторских сил, — пишет в своих воспоминаниях ныне покойный композитор Михаил Иванович Мирзаян, — ректор Адамян выразил сомнение в своевременности этого начинания, так как «студенты пока слабы» и «в консерватории нет духовиков». Но Александр Афанасьевич был настойчив. Он сказал: «Все это мы преодолеем».

Оркестр составил из пяти педагогов струнных классов^[82] и наиболее способных учеников. Работа закипела. «До тех пор в консерватории было не шумно и не чувствовалось увлечения, — пишет Спиридон Меликян. — Слышались лишь монотонные звуки упражнений, которые играли на своих инструментах одиночки. Но приехал Спендиаров, вошел в один класс, другой, третий — и почувствовал, что в них зиждутся творческие силы и что пора их выявить и объединить. С тех пор консерватория превратилась в одно целое, и Александр Афанасьевич сделался душой ее».

Репетиции происходили утром и вечером. Чтобы не подниматься дважды на Конд, Александр Афанасьевич отдыхал днем у знакомых, чаще всего у проживавших вместе композиторов Спиридона Меликяна и Михаила Мирзаяна. Освежив силы в коротком сне, он снова шел в консерваторию. По дороге ему встречались группы студентов. Он приветствовал их: «Мое почтение!» — и высоко поднимал шляпу над головой. «Это было в Рабисе, — рассказывал композитор Сергей Шатирян, в то время худенький юноша с живыми черными глазами. — При мне туда пришел отметить небольшой светлый человек с приветливыми серыми глазами. К нему обратились: «Как вас записать?» Он ответил так просто, точно называл рядовую фамилию: «Спендиаров, композитор». Я не поверил своим ушам! В моем представлении Спендиаров был высокий, черный, важный и хмурый, каким я привык видеть наших знаменитостей. Я подумал, что это не тот Спендиаров, о котором я столько слышал, и даже спросил его: «Крымские эскизы» — это ваша вещь?»

Нынешний дирижер Театра оперы и балета имени Спендиарова Рубен Степанян, в то время студент консерватории, впервые встретился с композитором на экзамене. «Александр Афанасьевич сидел вместе с другими педагогами за столом и задавал иногда экзаменуемым

различные технические вопросы, — пишет он в своих воспоминаниях. — Узнав, что я скрипач, Александр Афанасьевич стал задавать мне вопросы, касающиеся скрипки, и неожиданно спросил: «От какого слова происходит название «соната» и что вы вообще можете рассказать о ней?» К моему стыду, я имел смутное понятие о музыкальной форме и не знал, как ответить. Вдруг я заметил, что на лице его появилась добродушная улыбка, и он начал задавать мне наводящие вопросы, приговаривая: «Голубчик, ведь это так просто! Ну подумайте хорошенько, ведь это так легко!» Я заметил, что он уже сожалел о том, что задал мне столь «сложный» вопрос. По окончании экзамена Александр Афанасьевич вышел из класса и, увидев меня, подошел ко мне и ласково сказал: «Не горюйте! Мои вопросы не в счет, я ведь только в качестве гостя у вас...»

«Он не любил вызывать у нас смущение, — рассказывал музыковед Константин Ефремович Мелик-Вртанесян. — Принимая нас такими, какими мы были, — недавно приобщившимися к музыке парнями из селений, он вел себя с нами так, чтобы не унижить нас своим превосходством. Это заставляло нас собираться в консерватории еще до начала занятий и упорно работать над своим музыкальным развитием».

Он был всегда окружен студентами. Даже те, кто не участвовал в оркестре (вначале он состоял почти только из одних струнных), часами просиживали на репетиции, жадно ловя каждое его слово.

Как вспоминает руководитель Ансамбля армянской песни и пляски Татул Алтунян, в то время ученик по классу гобоя, Спендиаров занимался с участниками оркестра «необычайно кропотливо, выправляя каждую нотку ритмически и интонационно и добиваясь предельной точности звучания».

«Порой, разгорячившись, — рассказывал Сергей Шатирян, — он протягивал руку концертмейстеру первых скрипок и, достав из портсигара папиросы, закуривал одну, прятал за ухо другую и, ни на мгновение не останавливая оркестр, дирижировал окурком».

Репетиция кончалась, но и тут студенты не расходились. «Мы всегда искали повода подойти к нему, поговорить с ним, почерпнуть от него не только как от музыканта, но и как от человека, — рассказывали старые оркестранты — участники оркестра Театра имени Спендиарова. — Старшие студенты окружали его тесным кольцом, любознательные подростки тоже старались протиснуться к нему. Строгий и требовательный на репетиции, он становился весел и общителен, когда кончались занятия, и, замечая каждого из нас, отвечая на каждый вопрос, щедро делился с

нами музыкальным опытом».

Юные композиторы приносили ему свои сочинения. Тут же в классе, примостившись у рояля, заставленного пюпитрами и инструментами, он внимательно просматривал их корявые рукописи и педантично разъяснял ошибки. «Мы были учениками Александра Афанасьевича не в обычном смысле этого слова, — вспоминал декан Ленинградской консерватории Тигран Тер-Мартirosян. — Он даже и не числился педагогом консерватории, так как студенты еще не доросли до сложных теоретических дисциплин. Нас связывали с ним неофициальные, если можно так выразиться, романтические отношения».

Заведя разговор о теории, композитор все более и более оживлялся. Веселый, возбужденный, поминутно оборачиваясь к сопровождавшим его ученикам, он спускался по консерваторской лестнице.

Молодые люди провожали его домой. Слушая его горячие речи, они шли за ним гуськом, балансируя среди глубоких рытвин. Остановившись у ворот усадьбы Мелик-Агамаловых под светом единственного на улице фонаря, Спендиаров говорил еще долго, переступая с ноги на ногу и сопровождая слова страстной жестикуляцией. Наконец раздавался глухой звон колокола у ворот, за ним следовало шлепание босых ног безмолвного слуги. Лицо композитора становилось озабоченным. Он поспешно прощался с учениками и исчезал за воротами.

Первый концерт консерваторского оркестра

Дома его ожидали письма из Судака. Они были полны пылких расспросов об Эривани и смешных историй из жизни младших детей. Но материальная; стесненность читалась в них между строк. К письмам были приложены размеры детских ножек на случай, если в эриванских магазинах можно достать детскую обувь.

Первый концерт консерваторского оркестра состоялся 10 декабря 1924 года в зале Гостеатра.

Настраивая инструменты, музыканты сидели уже на своих местах, когда взволнованное лицо Спендиарова, шагающего по артистическому фойе, обратила на себя внимание одного из актеров.

«За его правое ухо была засунута папироса, — рассказывал Ори Бунятян, — другую он курил. «Маэстро, что с вами?» — обратился я к нему. Обернувшись, он заговорил быстро, страстно, с поразившей меня, в то время начинающего актера, открытостью: «Волнуюсь, ужасно волнуюсь! Ведь это первый концерт армянского симфонического оркестра. Настоящих музыкантов только пятеро, остальные играют в оркестре полтора месяца. Боюсь, что они забудут нюансы». Раздался третий звонок, он встрепнулся и быстро пошел на сцену. Я едва успел вынуть из-за его уха папиросу.

Войдя в зал, я увидел по спине и волевым жестам маэстро, что он сосредоточенной работой победил свое волнение. Его подъем, воодушевление музыкантов передались слушателям. Плененная его музыкой и им самим, публика по окончании концерта устроила ему овацию. Студенты консерватории ринулись на сцену, и мы увидели, как над их головами взметнулась худощавая фигурка во фраке».

«Мы исполнили «Этюд на еврейские темы», «Крымскую колыбельную», «К возлюбленной» и еще несколько прелестных мелких пьес, — пишет в своих воспоминаниях Рубен Степанян. — Успех у слушателей Эривани был колоссальный. Затем Спендиаров с Адамяном сыграл в четыре руки отрывки из «Алмаст». И с этого момента мы все почувствовали, какой великий музыкант перед нами».

Подходил конец декабря. Закончились переговоры с Наркомпросом Армении. Александр Афанасьевич теперь имел возможность воскресить надежды Варвары Леонидовны. «Мое материальное положение с приездом наркомпроса Мравяна окончательно выяснилось, — писал он ей 25 декабря

1924 года. — Я числюсь на службе в Народном комиссариате просвещения в качестве члена так называемого Методического совета по музыкальному отделу и получаю жалованья 100 рублей в месяц. Кроме того, я получаю 100 рублей в месяц из Совета Народных Комиссаров как временную субсидию, которая будет выдаваться до назначения мне пожизненной субсидии. Отношение ко мне наркомпроса Мравяна и других лиц очень внимательное и благожелательное...»

К этому времени Александр Афанасьевич уже целиком погрузился в музыкальную жизнь Эривани, по-хозяйски изучая ее возможности. Он был буквально вездесущ: «Спендиаров! Спендиаров!» — кричали маленькие духовики «Пионероркестра», завидев издали знакомую фигуру в тяжелой шубе. В один прекрасный день композитор привел к капельмейстеру «Пионероркестра» Тей-Муразяну несколько растрепанных и весьма подвижных беспризорников. «Это несчастные дети, оставшиеся сиротами после бедствий, постигших армян, — сказал он капельмейстеру. — Вы себе представить не можете, как они музыкальны!» Увлеченный мыслью, что мальчишек можно приобщить к искусству, он горячо повторял: «Дети — это ведь будущее страны! Разве можно допустить, чтобы из них получились бандиты!»

Если ему удавалось обнаружить в гуще народа талант, он радовался этому несказанно.

«Однажды он прибежал к нам, — вспоминала жена М. Сарьяна, чрезвычайно благоволившая к ребячливому композитору, — и, еще не сняв шубы, стал рассказывать о чудесном голосе, который он слышал, проходя мимо невзрачного домика. Стоя под окном, он слушал пение с таким увлечением, что не обращал внимания на падающий на него хлопьями снег. За столом композитор все повторял: «Какой голос! Какой голос!.. Надо немедленно выяснить, кто его обладательница», — и, наскоро проглотив приготовленные для него армянские кушанья, побежал в Наркомпрос «принимать срочные меры».

Где только не находили композитора его дочери, когда приходила пора подниматься на Конд! То в бывшей типографии, где шли занятия хореографического ансамбля, впоследствии балетной группы Театра имени Спендиарова, то в захудалом клубе. Там пробивал свой путь к будущему первый оркестр армянских народных инструментов. Увлеченный еще в Тифлисе идеей сочетания тембров, композитор чрезвычайно обрадовался попытке ее осуществления. Приехав в марте на концерт в Баку, он тотчас же стал изучать опыт Бакинского соединенного оркестра, проявляя горячий интерес к творчеству всех без исключения народов Востока.

Каждый нюанс армянской музыкальной жизни уже был им изучен, когда, командированный Наркомпросом Армении в Тифлис на юбилей Захария Палиашвили, он представлял за красным столом музыкальную культуру Армении. Композитор вполне отдавал себе отчет в важности возложенной на него миссии и потому в течение нескольких дней учил наизусть составленное им слово. Он повторял его по дороге в театр и даже на эстраде. Когда пришла его очередь выступить, он бодрым шагом подошел к юбиляру и прочувствованно произнес: «Дорогой Захарий Петрович!» Затем наступила пауза. По залу пронеслось тревожное покашливание. Композитор снял очки и, протерев их носовым платком, вынул из бокового кармана шпаргалку, зазмеившуюся до самых его колен.

Дочери были вне себя, пока спокойно, словно находясь в собственном кабинете, он «штудировал» забытую речь. Аккуратно свернув шпаргалку, он спрятал ее затем в карман и сказал свое слово так горячо и искренне, что тронутый до слез Захарий Петрович долго не выпускал его из своих объятий.; На следующий день Александр Афанасьевич присутствовал ни концерте, устроенном в его честь в Армянском доме культуры. Исполнялась армянская музыка разных эпох. Юные композиторы К. Закарян, О. Егиазарян и В. Тальян продемонстрировали свои первые сочинения. В исполнении хора прозвучали старинные армянские песни в обработке Комитаса и Сергея Бархударяна.

Обратив к сцене еще не тронутое глухотой ухо, Спендиаров слушал внимательно, поглаживая по давно укоренившейся привычке гладко выбритые щеки и подбородок.

Пианистка М.Ф. Тигранова-Тер-Мартirosян, сестра композитора Н.Ф. Тиграняна, сыграла «Чаргя» своего брата и спендиаровскую «Хайтарму». Затем, кутаясь в белую шаль, скрывавшую ее приземистую фигуру, вышла на сцену Айкануш Багдасаровна Даниэлян. Она спела несколько песен Комитаса и два романса Спендиарова.

После концерта состоялся «товарищеский чай». Многие из присутствовавших обратились к Александру Афанасьевичу с торжественными речами. Их главной темой было взаимопроникновение в лице Спендиарова русской и армянской музыкальных культур.

Когда все высказались, тамада пригласил к ответному слову виновника торжества. Все взоры обратились к Александру Афанасьевичу. Он сидел неподвижно с опущенными веками и сложенными на коленях руками. Вдруг он открыл глаза, поднялся с места и оперся обеими ладонями о стол. Несколько мгновений царило молчание. Вероятно, композитор не сразу мог найти нужные слова. Потом он повернулся всем корпусом к Даниэлян и

сказал медленно, скандируя каждое слово, что «никогда — нигде не слышал — своих сочинений — в таком — бесподобном — исполнении!». Юлия Ивановна Спендиарова шепнула ему на ухо: «А как же Мария Фаддеевна Тигранова, она ведь тоже исполняла твою пьесу!» Композитор восторженно, на лице его появилась виноватая улыбка, и, снова наполнив бокал, он выпил за здоровье смутившейся пианистки.

«Эриванские этюды»

Уже цвела акация, пробуждая воспоминания о далеком детстве, когда, покинув Тифлис, Спендиаров вернулся в Эривань.

Становилось жарко. Кончились переходные экзамены. Прекратились частные уроки иностранных языков, которые давали дочери Спендиарова, чтобы пополнить бюджет семьи. Александр Афанасьевич отправил девочек в Судак, а сам остался на лето в Эривани. Он задумал музыкальное произведение, навеянное первыми впечатлениями об Армении.

Композитор готовился к нему исподволь, как бы мимоходом прислушиваясь к армянским напевам, ловя их то под окнами народных музыкантов, то на веселой вечеринке, где, следуя причудливому ритму, грациозно танцевали эриванские девушки.

«Судя по тому, что я запомнил Александра Афанасьевича в высоких калошах и теплом пальто, — рассказывал руководитель восточного ансамбля К Александрян, — дело было зимой, когда, зайдя ко мне как-то вечером, он попросил наиграть на таре популярный в то время танец «Энзели». Помню, я угостил его крепким чаем с лимоном, и, расположившись с тетрадью на чайном столе, он тщательно записывал мелодию, заставляя меня по несколько раз играть отдельные места».

Напев «Гиджас» пленил Спендиарова той же зимой. Многие эриванские современники запомнили веселое лицо Александра Афанасьевича, когда он изображал «потешного» дудукиста, под окном которого простаивал каждый вечер. Композитор раздувал щеки и подражал тембру дудука^[83]. С помощью инспектора консерваторского оркестра Хайка Гиланяна он нашел потом этого дудукиста в «ашугской конторе». Восседа в компании сазандари, тот яростно сражался в нарды.

«Как только я назвал фамилию моего спутника, — рассказывал впоследствии Гиланян, — вся контора всполошилась. Замолкли горячие споры, щелканье нардов... Музыканты гурьбой окружили Спендиарова.

Обратившись к пленившему его дудукисту — широколицему детине в черкеске и высоком картузе, Александр Афанасьевич попросил сыграть заинтересовавшую его мелодию. Надо было видеть, с какой готовностью была исполнена просьба композитора! Богатырь Каро встал рядом со своим напарником за спиной расположившегося на табурете дхоллиста^[84] и, прильнув губами к дудуку, раздул щеки».

«Прекрасный был человек! — вспоминал о Спендиарове старый

дхолист Вано Мелоян, единственный оставшийся в живых из всего выступавшего тогда ансамбля. — Он обещал научить сазандари музыкальной грамоте, но успел только устроить в консерваторию двух-трех. Он сказал нам: «Я должен развить восточную музыку. Я должен развить восточный оркестр!» Как-то я зашел к нему в консерваторию. Он играл на рояле «Гиджас» и заставил меня подыгрывать ему на дхоле. Я спросил его, почему его так интересует дхол? Он ответил: «Ритм мне нужен, понимаешь? Ритм армянской музыки». Потом он часто приходил к нам в контору. Мы играли ему «Свадебный туш» и другие эриванские вещи, а он сидел среди нас за столом, положив перед собой шляпу и повесив палку на спинку стула»^[85] *.

Разгоралось лето. В комнате Александра Афанасьевича было так тихо, что явственно слышался скрип пера. Сидя за столом у глубокого подоконника, он работал над оркестровкой «Алмаст». Со двора доносились приглушенные голоса меликагамаловских домочадцев, сквозь небольшое окно виднелась унылая Цицернакаберд^[86]. Ее однообразие подавляло Александра Афанасьевича. Нередко он оставлял работу и выходил за ворота, чтобы взглянуть на Арарат, возникавший, казалось, из глубины неба.

«Мне пришла в голову мысль устроить Александра Афанасьевича в епархиальном (епископском) доме, — рассказывал близкий друг Спендиарова архитектор Александр Иванович Таманян. — Балкон этого дома, стоящего на высоком обрыве над Зангу, обращен прямо на Арарат. Александр Афанасьевич был] восхищен этой идеей. Он немедленно устроился там для работы и, вдохновленный дивным видом, написал «Эриванские этюды».

Композитору предоставили фисгармонию, кровать для дневного отдыха и старый ломберный стол, за которым он работал над оркестровкой «Алмаст».

Снизу доносился шум Зангу. Поднимая глаза от партитуры, Спендиаров видел перед собой древний Масис^[87]. «Масис заменяет мне море», — сказал он однажды композитору Николаю Фаддеевичу Тиграняну, навестившему его в отшельничестве. «Сначала мы прохаживались по веранде, — вспоминал Николай Фаддеевич, — потом уселись за фисгармонию и стали наигрывать друг другу армянские напевы. Я почувствовал, что Спендиаров ими полон, что он теперь наш, и с этой минуты полюбил его»^[88].

Иногда, обычно по субботам, Александр Афанасьевич спускался в сад

Иоаннеса Иоаннисяна, расположенный по ту сторону реки. Там собирались друзья поэта. Гостей усаживали на ковер, и начиналась оживленная беседа, вне которой оставался только Спендиаров — глухой ко всему, кроме «Дун эн глхен»^[89], распеваемой под аккомпанемент тара^[90] одним из участников кейфа.

— В то время композитор еще вынашивал в душе свое будущее сочинение. Он был рассеян, молчалив... Зато каким он стал общительным и словоохотливым, когда так долго созревшая в нем музыка высвободилась, наконец, из связывавших ее пут и, заглушая хрипение фисгармонии, наполнила собой епископский дом!

Его одинокая «келья» стала притягивать к себе окрестных детей. Доверчиво толпясь у двери, они приветствовали его: «Барев, дядя джан!»^[91]. Он приглашал их в комнату, желая проверить по их восприятию, сохранилось ли народное дыхание в его новых пьесах. Окружив фисгармонию, дети то подпевали знакомым мелодиям, то пускались в пляс. «Однажды у нас был какой-то детский праздник, — вспоминала одна из маленьких приятельниц композитора. — Спендиаров вытащил во двор фисгармонию и играл нам детские песни и танцы. «Публикой» были соседи и соседки, которые сидели тут же на низеньких скамеечках...»

Он приходил в епископский дом рано утром, когда еще не растаявший горный воздух был напоен запахом горячего лаваша.

Ключ от его комнаты хранился у сестры епископа. Осторожно постучав в дверь, он напевал:

— «Амалик, Амалик, тур инц баналик!»^[92] — и, взяв ключ и корзиночку помидоров из рук тоненькой девочки с глазами, как вишни, он шел к себе в комнату.

«У него всегда был в кармане маленький кулечек черешен, которые он ел во время работы, — рассказывала Амалик дочери композитора. — Он угощал нас то черешнями, то виноградом. Вместе с помидорами и серым хлебом виноград был главным его питанием».

С наступлением осени Спендиаров снова взялся за оркестровку «Алмаст». Работа шла быстро и успешно. Посетившее его вдохновение не покидало композитора. Похудевший, но все такой же окрыленный, он время от времени выходил на террасу и подолгу, прищурившись и откинувшись немного назад, любовался открывающимся перед ним пейзажем.

Однажды он заметил у перил веранды белокурую женщину. Она делала набросок Арарата.

«Я услышала шаги и, обернувшись, увидела небольшого человека в выцветшем пальто с поднятым воротником и в очках, — рассказывала она впоследствии. — После нескольких секунд молчания он обратился ко мне: «Простите, что я сам с вами знакомлюсь, но я вижу — вы артистка, и мне интересно, какой вы национальности». Я ответила: «Армянка из Константинополя». Тут подошел ко мне мой мальчик и сказал: «Мама, я потерял карандашик». Незнакомец вынул из кармана маленький-маленький, остро отточенный карандашик и дал его моему ребенку. Он был так ласков с ним.

В разговоре выяснилось, что он из Крыма, что у него шестеро детей. Потом он сказал совсем невзначай: «А я музыкант и здесь работаю...»

«Была осень. Пестрели деревья — желтые и красные, — продолжала свой рассказ пианистка А. Месропян, стоя у перил веранды епископского дома. — Вот так шумела Зангу. Он сказал: «Слышите этот игум? Не напоминает ли он вам журчание воды в музыке Листа?»

Опершись на перила, мы любовались видом. Он показал мне Сардарский сад по ту сторону реки и дорогу на Эчмиадзин, по которой двигался караван навьюченных осликов.

Все на веранде было так же, как сейчас. Эта зеленая деревянная тахта стояла налево у двери.

Потом он повел меня в свою комнату. Она была залита солнцем. В углу стояла коричневая фисгармония, около нее — большой круглый желтый стол, на котором лежали кипы рукописей и скрипка в черном футляре. Была еще в комнате узкая кровать и половинка ломберного стола, придвинутая к окну.

— Окно это каждую минуту дает мне счастье: разнообразные моменты освещения великолепного Масиса, — восторженно сказал мой новый знакомый. — Как часто он меняет цвет!

Он сел за фисгармонию и сыграл начало двухголосной фуги Баха и «Ларго» Генделя. Педаль стучала, и он все время извинялся. А мне хотелось це-"ловать его руки, потому что я поняла, что передо мной большой музыкант!

— Что это за рукопись? — спросила я его.

— Это мои сочинения — партитура оперы, которую я сейчас оркеструю, и недавно написанные «Этюды»...

Я сказала ему, как я счастлива, что встретила с ним».

Время шло. Заканчивалась работа по оркестровке второго акта «Алмаст». Каждый вечер, передавая ключ от своей комнаты маленькой Амалик, Спендиаров напевал ей второй куплет придуманной им песенки:

— «Амалик, Амалик, ар кез баналик...»^[93]

В последний раз дети слышали его ласковый голос 14 октября (1925 года), когда, поставив эту дату на четвертом листе партитуры третьего акта, он унес с собой рукописи и скрипку.

Начались ежедневные спуски в консерваторию и подъемы на Конд. Комья грязи, прилипавшие к калошам, затрудняли шаг композитора и без того медленный из-за поразившей его ноги болезни. Увлеченный репетициями «Эриванских этюдов», во время которых, по словам Тиграна Мартиросяна, тут же на пюльтах создавалась партитура, композитор забывал о боли. Но однажды, выйдя из консерватории в сопровождении виолончелиста А. Айвазяна^[94] и его жены, он сказал совсем обычным голосом: «А мне на Конд, но я не в силах идти».

Молодые супруги жили неподалеку. Они сказали: «Пойдемте к нам», — и увели с собой больного композитора. Навещая отца в их крохотной комнатке, еле вмещавшей предоставленную Александру Афанасьевичу тахту, дочь Спендиарова видела, как красавица Нина Айвазян, стоя перед Александром Афанасьевичем на коленях, заботливо обмывала его ноги.

На первом публичном исполнении «Эриванских этюдов» композитор дирижировал в калоше, привязанной тесемкой к забинтованной ноге.

Зал Дома культуры был переполнен. Спендиаров выступал во втором отделении. Как вспоминают супруги Ширмазан, не пропускавшие ни одного консерваторского вечера, в продолжение всего первого отделения в зале слышались возгласы ревностных почитательниц Александра Афанасьевича: «Кора нам!»^[95] Спендиарову придется дирижировать таким! оркестром? Кар данаков кмортен!^[96] Они ведь играют, как мертвые!» И надо было видеть лица этих эриванок, когда при первых звуках «Энзели» выражение озабоченности сменилось на них страстной увлеченностью.

«Как только началась танцевальная часть «Энзели», потухло электричество, — рассказывал флейтист Варткез Хачатурян. — На секунду Александр Афанасьевич опустил палочку, но оркестр продолжал играть, и он дирижировал в темноте. Как мы играли, я не знаю. Мы были в состоянии экстаза и, подчинившись его воле, творили вместе с ним. На последних тактах «Энзели» зажегся свет».

Молодежь ринулась было к эстраде, но, обернувшись к оркестру, Спендиаров снова поднял дирижерскую палочку. Его пластический жест был обращен теперь к Татулу Алтуняну, который исполнял соло гобоя, не спуская глаз со своего учителя. Мечтательное соло «Гиджаса» сменилось жизнерадостным тутти. Оно замолкло как-то внезапно. Раздался шквал

рукоплесканий. Спендиаров стоял неподвижно. Озадаченная публика, наконец, замолкла. Тогда, указывая широким жестом на поднявшихся по его указанию музыкантов, композитор сказал:

— Товарищи, своим успехом я обязан молодому консерваторскому оркестру и в знак глубокой признательности за его работу на репетициях и на концерте освящаю ему свое первое написанное в Армении сочинение.

Юбилей

Панораме старой Эривани придавал особый колорит бирюзовый купол «Гёй-мечети», окруженной шарообразными кронами столетних чинар. Красота самого здания и торжественная тишина, царившая в его дворе, привлекали к себе многих романтически настроенных строителей новой жизни. Любуясь кружевным орнаментом и красочными сочетаниями стекол в амбразурах окон, они вели здесь долгие беседы.

«Академия» — так прозвали место своих сборищ поэты, музыканты, художники, актеры, которым благодарное поколение воздвигает теперь величественные памятники. В потертой одежде и стоптанных башмаках они сидели на каменных скамьях у переливчатой воды плоского бассейна и попивали чай, приносимый им из чайханы ловким, как фокусник, персом Али.

Здесь бывали Аветик Исаакян, Романос Меликян, Дереник Демирчян.

Егише Чаренц. Стоя у самой воды, отражающей его тщедушную фигуру, поэт читал свои великолепные стихи. Всегда возбужденный, живой как ртуть, он напоминал крючковатым носом и развевающимися концами рваного шарфа горную птицу, готовую к полету.

Вместе с Мартиросом Сергеевичем Сарьяном приходил главный архитектор Армении Александр Иванович Таманян. Он держал себя незаметно, говорил очень мало. Но каждое его слово, произнесенное тихим, скрипучим голосом, заставляло умолкнуть самых красноречивых — в благоговении перед картинами новой Эривани, которые он рисовал в их воображении.

Упругой походкой, высоко взмахивая на ходу тростью, приближался к месту сборища Александр Афанасьевич Спендиаров.

Композитор был всегда чем-нибудь захвачен, причем предметы его увлечения принадлежали к самым далеким друг от друга участкам эриванской жизни! Так, посвятив членов «Академии» в свои широкие планы создания Армянского музыкального издательства, он начинал настойчиво призывать их в Общество друзей беспризорных детей, в деятельности которого принимал горячее участие. Он говорил об армянской песне, о том, что отныне посвятил ей свое творчество, о восточной музыке, восточном оркестре, а с начала 1926 года — о музыкальном оформлении спектакля «Отелло», порученном ему дирекцией драматического театра.

Почти во всех воспоминаниях современников упоминается об увлечении композитора этой работой. «Он приходил на каждую репетицию, — рассказывал режиссер театра Леон Калантар, — менял свою музыку, приспособляя ее к действию, давал советы режиссеру, делал замечания актерам, а когда пьеса пошла, забыв, что это не оперный, а драматический спектакль, спрашивал знакомых: «Вы уже слышали «Отелло»?»

«Становилось темно, и мы шли в кафе-молочную «Налбанд», — вспоминала скульптор Ара Саркисян, посвятившая дочь композитора в романтическую жизнь уже не существующей «Академии». — Здесь продолжались показы карикатур, чтение памфлетов и проникновенные беседы».

«Помню, меня поразили слова Спендиарова, когда, еще не знакомый с ним, я сидел за соседним столиком в кафе «Налбанд», — рассказывал журналист Эдуард Ходжик. — Продолжая какой-то разговор, он сказал своим собеседникам: «К сожалению, я поздно познакомился с песнями Комитаса. Если бы я узнал их раньше, я бы многое в них почерпнул». Он ел мацун и задумчиво смотрел на дверь, встречавшую приветливым звоном каждого входящего посетителя, затем он вытер губы носовым платком и добавил фразу, которая вознесла его в моих глазах на неизмеримую высоту: «Ничего, зато теперь я у него учусь».

На заседаниях Института наук и искусств, комиссии по постройке Народного дома и других собраниях, посвященных вопросам развития культурной жизни Армении, присутствовали все те же члены «Академии».

Все они были осведомлены о том, что летом 1926 года исполняется двадцатипятилетие композиторской деятельности Александра Афанасьевича, началом которой он считал первое публичное исполнение «Концертной увертюры». Спендиаров сообщил об этом просто, в дружеской беседе, но «академики» придали его словам общественное значение и стали обсуждать организацию юбилейных торжеств.

Решено было отложить празднование юбилея до будущего концертного сезона.

Александр Афанасьевич не выходил из состояния окрыленности. «Лав мацун! Лав дзу! Нафти! На-а-1>ти-и!»^[97] — кричали по утрам разносчики под окнами первого в Эривани нового дома, еще покрытого лесами, по которым Александру Афанасьевичу приходилось взбираться в свою квартиру. Накинув плед, Спендиаров выходил на балкон. Улыбающийся, светлый под лучами мартовского солнца, он наслаждался видом конусообразных вершин, подернутых розовой дымкой.

Счастлив и многолик был его юбилейный год!

Апрель застал Александра Афанасьевича в Тифлисе. Там состоялся его авторский концерт — первый после 1916 года, когда встреча с Ованесом Туманяном повернула творчество композитора на путь непосредственного служения Армении.

Наполнившая зал армянская публика приветствовала его теперь как народного героя, посвятившего свою жизнь возрождающейся стране.

Сидя в ложе верхнего яруса, дочь композитора видела, как при последних звуках музыки с галерки полетели десятки маленьких венков. Они падали к его ногам, разрастаясь в груды.

Когда в сопровождении друзей и коллег композитор вышел из театра, какие-то люди подхватили его на руки и усадили в фаэтон. Не успел он сказать кучеру, что, собственно, ехать ему некуда, потому что он живет здесь же за углом, как к нему снова протянулись десятки рук, и он оказался на плечах учеников армянской школы. Дети понесли его по Головинскому проспекту, распевая марш из оперы «Алмаст».

Через несколько дней он уже был в Судаке.

Подойдя к каменной стене, за которой трепетали серебристые тополя, он открыл чугунную калитку и, минуя обсаженную миртом аллею, стал медленно подниматься по прогнившим ступеням лестницы.

В неведении о приближении Александра Афанасьевича сидело за стеклами террасы его многочисленное семейство. Вот Варвара Леонидовна в своей всегдашней горделивой позе, скрадывающей второй подбородок, так изменивший ее когда-то прекрасный профиль. Вот белый чепец тещи Елизаветы Александровны, восседающей в кресле спиной к стеклам. Вот морщинистая Эльвина Ивановна. Редко выкраивая себе минуты досуга, она пьет кофе с каким-то благоговением, медленно закусывая кусочками хлеба и обратив глаза к саду. Вот дети. Лесеньке^[98] уже подстригли кудри, зато на худенькой спинке Мирочки болтаются две длинные каштановые косички. Александр Афанасьевич нетерпеливо постучал в дверь, и тотчас же начался радостный переполох. Домашние окружили его любовью и заботой, по которым, сам того не сознавая, он стосковался за эти годы разлуки.

Ему устроили ванну, его одели в аккуратно заштопанный костюм и, усадив за стол, напоили кофе с домашними лепешками. За обедом попотчевали его любимой рыбой — барабулькой. К ужину подали тарань и редиску из собственного огорода.

«Вот уже неделя, как я в Крыму, — писал он 12 мая 1926 года своему бакинскому знакомому П.М. Кара-Мурзе. — Усиленно питаюсь, пока отдыхаю, после эриванской студенческой... жизни чувствую себя особенно приятно в семейной обстановке...»

Казалось, никогда более не опустеет рабочая комната Александра Афанасьевича и не умолкнут его шаги, то отчетливые, если он ступал по линолеуму, то заглушаемые мягким ковром.

Когда он снова приступил к оркестровке оперы, его сосредоточенной работе не мешало ни тихое посапывание Мирочки, готовящей ему «сюрприз» к юбилею, ни настойчивые пальцы Марины: рисуя портрет отца, она поворачивала его вдохновенную голову в необходимом ей направлении.

Накануне семейного празднования юбилея, строенного в день рождения старшего сына Тасеньки, Александр Афанасьевич покорно подставил голову дочери Ляле, которая, держа его за ухо, аккуратно подстригла ему затылок. Попав затем во власть Эльвины Ивановны, он в утро празднования юбилея появился на террасе в обновленном ею пикейном костюме, белом и свежем. Дети встретили его бурными поздравлениями. Они вручили ему подарки, после чего Таня и Лесенька прочли свои стихи, в которых каждый из них, соответственно возрасту и воображению, рисовал его творческий путь.

К пятичасовому чаю потянулись к Спендиарову суданские старожилы, сохранившие вместе с воспоминаниями о начале его композиторской деятельности старый загар и старые моды. Вечером состоялся домашний концерт.

А спустя несколько дней композитор уже ехал в Эривань. Заложив руки с тростью за спину, он бродил по палубе и созерцал море, на котором пароход оставлял быстро исчезающую полосу. Продолжалось это день, два... На третий его окружили со всех сторон пассажиры армяне. Они отвлекли его от грустных мыслей расспросами о его жизни в Эривани, на которые он отвечал с готовностью, посвящая их в музыкальную жизнь Армении и обещая им — молодым и полным сил — ее близкий расцвет. «У нас будет свое музыкальное издательство — говорил он, загоревшись юношеским румянцем. — Своя опера! Своя филармония!» Размахивая в пылу увлечения тростью, он рассказывал о молодых армянских композиторах, о неустанно растущем консерваторском оркестре и, раз сев на своего любимого конька, не сходим с него до самого Батума,

Душевный подъем не оставлял композитора в течение всей подготовки к юбилейным концертам. Каждый оркестрант, даже самый юный, расценивался им на вес золота. Чувство необычайного единения с воспитанной им молодежью заставляло его тут же на репетициях обращаться к ней за советами, подобно своему великому учителю, находившему в беседах с учениками разрешение творческих сомнений^[99].

Имя Римского-Корсакова беспрестанно упоминалось теперь в расцветшем розовыми астрами дворе мечети и в кафе «Налбанд», где с наступлением темноты собирались «академики».

Рассказывая о годах своего учения, Александр Афанасьевич все чаще переходил к теме о воспитании молодежи искусством, причем приводил в пример быструю эволюцию своего оркестра и «поразительную метаморфозу», происшедшую с «уличными мальчишками» за два года их обучения в «Пионероркестре».

«После посещения композитором народного празднества на Севанском острове встречи в кафе «Налбанд» происходили под девизом «Севан», — пишет в своих воспоминаниях поэт М.С. Ахумян.

Потрясенный зрелищем горного озера и плясками монастырской стены красочно одетых крестьян, композитор делился своими впечатлениями с «академиками», учениками, близкими и съехавшимися на юбилей гостями^[100].

«Севан стал для него символом творческого гения армянского народа», — пишет далее поэт Ахумян.

В самом разгаре юбилейных торжеств композитор был одержим творческими планами, брезжившими перед ним, как дальние горы, с высоты пройденного пути.

Первый юбилейный концерт состоялся 3 октября 1926 года. Зал Дома культуры был ярко освещен. У его входа толпилось множество народа. Седоусые старики в черных черкесках, старухи в парадных шالях, прикрывающих нижнюю часть лица, нарядная городская молодежь, крестьяне с обветренными лицами, держащие в заскорузлых руках мохнатые шапки, целой лавиной устремились к залу, нетерпеливо протискиваясь к двери.

Один за другим вышли на эстраду оркестранты. Среди музыкантов тифлисского оркестра, приглашенных для участия в юбилейных концертах, Варвара Леонидовна, сидевшая в первом ряду с Таней и Тасей, узнала немало участников ялтинской «сезонной музыки».

Притихший было зал разразился громом аплодисментов: деловито пробираясь между оркестрантами, к дирижерскому пультау подходил Спендиаров.

Торжественно зазвучала «Концертная увертюра», написанная в годы скорби о любимом брате. Потом послышались нежные звуки «Берсез», посвященной «Моему маленькому племяннику»...

«Могила Агаси». Ее печальная тень омрачила лица слушателей, но они тотчас же оживились, когда раздалась легкая, прозрачная, грациозная

музыка «Крымских эскизов».

После бесконечно длившегося антракта началась торжественная часть. «Никогда не забуду, как Александр Афанасьевич сидел на эстраде во время чествования, — рассказывал В. Хачатурян, — ноги немного вперед, руки на коленях, сосредоточенно слушает...»

Иногда он поворачивал голову в сторону юбилейной комиссии, переводя взгляд с седой головы Таманяна на атлетические плечи артиста Абеяна, за которыми желтел френч Дереника Демирчяна.

Композитор выпрямился и поднялся с места, когда огласили постановление о присуждении ему звания народного артиста Армении. Затем он снова опустился на стул. Он устал. Казалось, ему не выдержать натиска нахлынувших на него поздравлений.

В каждом обращенном к нему приветствии его имя было связано с именем его страны.

«Национальная гордость Армении», — сказал оСпендиарове в своей теплой телеграмме Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов.

«Твори на гордость великого армянского народа», — напутствовал его другой ученик Римского-Корсакова — А.В. Оссовский.

«Да здравствует Армения! Да здравствует ее верный сын Александр Спендиаров!» — приветствовала Спендиарова Ленинградская консерватория в телеграмме, подписанной дорогим ему именем Глазунова.

После финальных аплодисментов его окружили ученики. Распоряжаясь им как своей собственностью, они заключали его в объятия, подбрасывали вверх и в конце концов унесли на руках под несмолкаемый гул ликования.

На следующий день зал снова наполнился публикой. Программа началась симфонической картиной «Три пальмы». За нею — сюита из оперы «Алмаст». Александр Афанасьевич дирижировал с неповторимым увлечением. Близким становилось страшно за его больное сердце, когда его руки сотрясались в воздухе с такой силой, что поднявшийся фрак образовал на спине глубокие складки. Выставив вперед подбородок и вперив яростный взор в оркестрантов, он вел за собой симфоническую рать к победным аккордам финала сюиты. Особенно упоительной показалась после них певучая музыка медленной части «Энзели». Она перешла в темпераментный танец, заставивший даже стариков держаться за стул, чтобы не пуститься в пляс.

Армянская песня «К возлюбленной», «Татарская колыбельная», записанная в Бахчисарае в лунный вечер, когда минарет и плоскокрышие сакли отбрасывали на землю длинные тени... Голова композитора

откинулась назад, и дирижерская палочка, уподобясь резцу ювелира, стала вырезать в воздухе нежные штрихи, сопровождавшие драгоценное пение Айкануш Багдасаровны Даниэлян.

Рукоплескания долго не смолкали. Когда отзвучала вторая серия «Крымских эскизов», композитор повернулся к публике. И опять восторженные крики, стук смычков, аплодисменты — и страшная усталость, превратившаяся в покорность, когда чьи-то юношеские руки, бережно подняв его на плечи, унесли в гущу толпы.

После юбилея

Отдых наступил после юбилея. Со стен зала Дома культуры сняли гирлянды зелени, и гости разъехались, оставив Спендиарова в кругу семьи.

В рабочей комнате композитора царила тишина. На окнах висели тщательно отглаженные Таней полосатые занавески. Из кухни доносился аромат «судакского» обеда, приготавливаемого Варварой Леонидовной. Стоя у стола, покрытого зеленой промокав тельной бумагой, Александр Афанасьевич перебирал поздравительные письма и перечитывал особенно тронувшие его.

«Ты знаешь, насколько я восхищаюсь твоими созиданиями в области твоей родной музыки, мне дорогой и близкой, — писал ему Александр Константинович Глазунов. — Чистота и благоуханье твоих звуков, их яркий красочный колорит всегда пленяют меня, я в этом отношении мне трудно найти творцов, тебе равных. Ты соединяешь в своем лице крупный талант и безупречное мастерство... Тобою восхищались и Римский-Корсаков и Лядов...»

Перевязав разобранные письма специально нарезанной для этой цели веревочкой, Александр Афанасьевич садился за судакский «Бехштейн» и предавался импровизированию.

Композитор еще долго находился во власти инерции праздника. Он не приступал к повседневным делам, так как ждал подтверждения приглашений на юбилейные гастроли. Но по непредвиденным обстоятельствам концерты в Крыму и Тифлисе были отложены. Состоялась лишь гастроль в Ростове. Концерт Спендиарова прошел там с «грандиозным успехом», но, воспользовавшись детской доверчивостью Александра Афанасьевича, ему не уплатили причитающегося гонорара.

Горечь, вызванная в душе композитора мелочным поступком концертных заправил, усугубилась еще небрежным отношением некоторых эриванских чиновников: все более затрудняли они ему получение ежемесячной субсидии. Как вспоминает дочь Спендиарова Татьяна, оставшаяся с отцом и братом в Эривани после отъезда матери к младшим детям, Александр Афанасьевич всю зиму 1927 года был как-то особенно молчалив и задумчив. По своей величайшей скромности он искал причину небрежного к нему отношения в себе, в том, что его присутствие в Эривани не столь уж необходимо. Варвара Леонидовна уговаривала его вернуться к «насиженному месту». Но жить вне Армении, вне ее новой строящейся

жизни, вдали от ее талантливой народа, он не мог. бесспорный рост оркестра, успехи Музыкального издательства и других его начинаний убеждали в том, что он может быть полезен родине. Постепенно он вонял, что причина небрежного к нему отношения лежала в небрежности чиновников к отечественному искусству, и это открытие, несказанно огорчившее Композитора, заставило его работать с еще большей самоотверженностью.

Он черпал силы в музыке. По-прежнему вечерами, после напряженной дневной работы композитор слушал армянские напевы. Его часто видели на Астафьевской улице около углового хлебного магазина. У дверей булочной, укрывшись за деревянной ставней, играл с наступлением вечера слепой блулист^[101]. Композитор слушал своего слепого собрата с напряженным вниманием, вытянув вперед шею и приложив ладонь к глухнущему уху.

«Журчала вода в арыке, — вспоминал искусствовед Драмиян, — по пустынной улице, позвякивая бубенчиками, проходил караван верблюдов, и все это так гармонировало с печальными напевами блулиста и внимательным лицом композитора, прислушивающегося к ним...»

«В один летний вечер, спускаясь по Астафьевской улице, вижу Спендиарова, неподвижно стоящего на безлюдном тротуаре, — пишет в своих воспоминаниях поэт Ахумян. — «А... — сказал он мне, как бы очнувшись, — это вы? А я вот слушаю музыканта...».

Иногда его видели одного, иногда в обществе друзей. После вечерних репетиций к бетховенским концертам он приходил сюда с бетховенистом Василием Давыдовичем Кургановым. Эриванцы находили у них сходство во внешнем облике, когда, опираясь на трости, они стояли бок о. бок под тусклым светом уличного фонаря.

Блулист умолкал, и, опустив в его протянутую ладонь свое скромное подаяние, музыканты медленно шли по ночной Эривани, неторопливо обсуждая музыкальные дела. Оба были деятельны и бескорыстны. Презрев привычку к комфорту, они обрекли себя на «студенческую жизнь». Педантичные и самоотверженные, они готовы были преодолеть все трудности, видя развитие и скорый расцвет там, где люди, не обладавшие их большим сердцем и опытом, усматривали лишь трудное начало.

Оба были плохи здоровьем и подвержены усталости, но сколько препятствий на пути к прогрессу сдвинули они своими слабыми плечами!

Вот они — на заседании издательской комиссии, корректные и подтянутые, ратующие за продвижение своих смелых идей. Вот они в приемной Наркомпроса. Оба обдумывают предстоящий разговор.

— Приближается дата столетия со дня смерти Бетховена. К ней готовится весь музыкальный мир. Необходимо организовать юбилейные торжества и в Эривани, где публика еще не слышала симфонических произведений Бетховена.

— Но поймет ли она их и справится ли с ними консерваторский оркестр?

— Несомненно. Надо только приложить силы.

И музыканты прилагают все свои силы: один читает лекции и доклады о Бетховене; другой, никогда еще не дирижировавший чужими пьесам», разучивает с оркестром бетховенские произведения. Немало усилий употребил Александр Афанасьевич, чтобы найти дирижерский жест, понятный для молодого, неопытного оркестра. Он искал его долго и упорно, выслушивая во время репетиций указания старых оркестрантов и перечитывая за утранным чаем «Методику дирижирования».

Как всегда, уйдя в свои музыкальные размышления, композитор становился глух к окружающему. «Мы собрались у директора консерватории по вопросу постройки садовой раковины, — вспоминал альтист оркестра Армен Вартамян. — Каждый высказывал свое мнение. Предоставили слово Александру Афанасьевичу. И вдруг он говорит: «Товарищи! Я все-таки думаю, что в финале симфонии при переходе от ферматы к аллегро надо сделать такой жест (он показал). Давайте-ка попробуем сейчас: вы споете, а я продирижирую, тогда я буду спокоен». И тут же на совещании мы спели, а он продирижировал».

Наконец концерт состоялся. Он «вызвал бурю оваций у эриванской публики, — пишет в своих воспоминаниях Рубен Степанян. — Безукоризненная чистота, которой он добился от нас, тонкая нюансировка и переданный нам величайший энтузиазм его сделали чудо с нашим полупрофессиональным, полуученическим оркестром».

Та же весна 1927 года принесла композитору еще одну радость: состоялся публичный показ оперного класса, которому Спендиаров придавал огромное значение. «18 мая был заложен фундамент армянской оперы, — написал он в газете «Заря Востока». — Это важное событие в музыкальной жизни нашей республики, и потому большого одобрения заслуживает работа лиц, заложивших этот фундамент: руководителя оперного класса и дирижера оркестра И.А. Оганезова, режиссера спектакля А.С. Бурджалова, преподавателей оперного класса А.С. Абрамян и М.М. Меликсетян, и полных молодой, здоровой энергии учеников — участников спектакля».

«Спендиаров сыграл огромную роль в создании оперного класса, —

сообщила дочери композитора артистка Театра имени Спендиарова Ашхен Симонян. — Успех каждого из нас он принимал как свой. Он посещал наши уроки, направлял нас, делал замечания. Перед показом оперного класса он вникал во все детали спектакля: интересовался гримом, костюмами...»

С не меньшим энтузиазмом относился Александр Афанасьевич и к работе молодых композиторов. Сохранив экспансивность молодости, он настолько увлекался уроками, что, «проводя учеников по лестнице, спускался в пылу беседы на улицу и шел по ней в домашнем костюме».

Он любил молодежь. И она отвечала ему тем же.

«Мы обожали Александра Афанасьевича, — определил отношение учеников к композитору Хайк Гиланян. — Мы видели в нем что-то недостижимо большое и светлое. Нам хотелось сделать для него что-нибудь хорошее, помочь ему, обрадовать...»

Однажды, сидя с учениками в садовом кафе, Александр Афанасьевич сказал, что хотел бы посетить древний монастырь «Гехарт». Чуть ли не на следующий день к дому композитора подъехала линейка, и он покати по дорогам Армении, сопровождаемый своим учеником Левом Ходжа-Эйнатовым и молодым режиссером Армстудии Амасиком Мартиросяном.

Впоследствии Мартиросян рассказывал, что, восхищаясь красными, розовыми, коричневыми, оранжевыми скалами, композитор повторял: «Какое счастье, что я приехал в Армению! Какое счастье!...»

«Он говорил, что каждый открывающийся перед ним пейзаж, будь то горы, ущелья, долины, дополняет его представление о стране, которую он хотел бы отобразить в своем будущем сочинении. Помню, приближаясь к «Гехарту», мы услышали звуки свирели, и Александр Афанасьевич тотчас же записал их, а когда мы подъехали к воротам, наша линейка врезалась в стадо овец, очень живописное под лучами заката.

Во дворе монастыря мы встретили дряхлого сторожа. Он разрешил нам переночевать в опустевшем домике священника. Умывшись водой из родника, мы разожгли костер и приготовили шашлык, а потом улеглись на балконе, устроив постель из бурки.

Поздно ночью взошла луна. Мы проснулись от яркого света и увидели, что Спендиаров стоит у перил, следуя взглядом за ущербным светилом, которое выползло из-за отвесных скал. Он что-то шептал. Мы прислушались. «Вот такой должна быть декорация в сцене Татула и Алмаст, — говорил он, (отстукивая на перилах какой-то мотив. — Именно такой: терраса, луна, выходящая из-за диких гор». Он замолчал, продолжая любоваться ночным пейзажем, а мы лежали неподвижно, не сводя глаз с

его одинокой фигуры, облитой лунным светом».

Четвертый акт оперы «Алмаст» остался неоркестрованным

«Дано сие народному артисту ССР Армении профессору Эриванской госконсерватории^[102] Александру Афанасьевичу Спендиарову в том, что ему разрешен отпуск с 16 июля 1927 года по 1 января 1928 года». Так написано было в удостоверении, выданном Спендиарову перед его отъездом в Тифлис, куда он был приглашен на авторские концерты.

Композитор получил также приглашение в Кисловодск и решил отправиться туда в начале августа, а затем проследовать в Крым, где надеялся завершить работу над оперой.

Весь план его жизни на ближайшее время был им, таким образом, составлен. Оставалось только укрепить здоровье, чему должно было способствовать пребывание в Кисловодске, где он надеялся подлечить сердце.

Как это было заведено с 1916 года, в Тифлисе он остановился у своих родственников И.С. и Ю.С. Спендиаровых, в их уютной квартирке на Евангуловской улице.

Болезненный вид гостя сразу обратил на себя внимание заботливых хозяев. Но начались репетиции, и он обманул их бдительность, тотчас же развив бурную энергию.

Концерты давались на летней эстраде сада «Стелла». Композитор впервые включил в программу Вторую сюиту из оперы «Алмаст», и его несказанно волновало знакомство с собственным сочинением. «Черт возьми! — восклицал он на репетициях, оглушенный звучаниями, которые до того воспринимал только внутренним слухом. — Я не знаю еще своей музыки!»

«Он был очень доволен оркестровкой сюиты, — рассказывал Сергей Шатирян, приехавший из Эривани, чтобы присутствовать на концерте учителя. — Но это нисколько не придавало ему самодовольства. Александр Афанасьевич оставался самим собой даже во время неистовых оваций, которые устроила ему тифлисская публика^[103]. Выйдя по ее требованию на эстраду, он сказал с приветливой улыбкой: «Шат шнорагалем» («Очень благодарен»).

После концерта компания друзей чествовала композитора в погребке «Симпатия», украшенном изображениями древнегреческих мудрецов. Как

вспоминает тифлисский старожил доктор Пано Монденов, композитор принимал довольно равнодушно похвалы его впервые исполненной сюите, как бы не находя в них ничего для себя нового. Медленно разжевывая шашлык, он сидел сутулясь среди ресторанного веселья, щуря на свет люстры усталые глаза. Все в нем являло человека слабого здоровья и утомленного. Но через несколько дней, на прощальной гастрولي, программа которой была составлена «по желанию публики», он снова превратился в «кусочек огня», удивляя необычайной дирижерской хваткой и неистощимым исполнительским пылом.

Прошло немного времени, и Александр Афанасьевич заторопился в Кисловодск. Он отправил туда телеграмму с запросом о подтверждении приглашения.

Но ответ не приходил. Составленный композитором план «катастрофически» рушился. По воспоминаниям Нины Ивановны Кушнаревой, дочери приютивших Спендиарова родственников, Александр Афанасьевич с каждым днем становился все озабоченнее. Куда девалось его светлое состояние духа, заставлявшее его весело насвистывать пиршественные мелодии и, расстилая на ночь постель, размахивать в такт простыней?

«Александр Афанасьевич выбегал в переднюю на каждый звонок, надеясь на приход долгожданного известия, — вспоминала Нина Ивановна. — Наконец — это было уже в двадцатых числах августа — ему вручили телеграмму. Александр Афанасьевич прочел ее и воскликнул с отчаянием: «Опять не то!..» — а затем добавил унылым тоном: «Телеграмма не из Кисловодска, а из Судака. Ляля замуж выходит».

Приехав в Судак, он смог приступить к оркестровке оперы только через несколько дней. Но надо было торопиться. В доме оказались истощены все денежные запасы, печальные письма находившейся на его иждивении сестры Жени надрывали душу. Необходимо было приложить все силы, чтобы закончить оркестровку оперы и добиться ее постановки. Композитор с головой ушел в работу и в течение месяца закончил оркестровку третьего акта. Наступил ноябрь. Спендиаров подготовил партитурные листы для четвертого акта, как вдруг пришла телеграмма из Москвы с приглашением участвовать в концерте, в котором должны были демонстрироваться культурные достижения Армении. Концерт хотели приурочить к десятой годовщине Октябрьской революции. Необходимо было ехать. Стоя около машины «Союзтранса», композитор говорил жене, глядя в ее скорбное от вечных забот лицо, что едет всего на месяц, что в декабре вернется домой. Будущее казалось ему ясным и твердо

очерченным.

Приехав в Москву, он узнал с огорчением, что «по непредвиденным обстоятельствам концерт отложен на неопределенное время». На вокзале ему вручили партитуру «Эриванских этюдов», которая только что вышла из печати.

Композитор остановился сначала у дочери Ляли. Но жить в крохотной комнатке молодоженов оказалось невозможным. Он поселился у Марины, снимавшей комнату у женщины с виду добродушной, но придиравшейся к малейшему шуму, производимому жильцами.

Вставая рано утром, чтобы «закончить свой туалет» у Ляли, композитор осторожно складывал кровать, боясь уронить перекладину. Медленно и педантично одеваясь, он старался не производить даже шороха. Но перед уходом, прохаживаясь по комнате в длинной шубе, подбитой стертым мехом, он вдруг заговаривал так громко, что дочери приходилось останавливать его.

Однажды, пройдясь по комнате несколько раз, он сказал ей, точно о чем-то вспомнив: «Почему, скажи, пожалуйста, у тебя нет на пальто хоть маленького воротничка? Воображаю, как ты мерзнешь, несчастная». Спohватившись, он заговорил вполголоса, с опаской поглядывая на дверь хозяйки: «Ничего, детка, вот когда опера пойдет, мы сошьем тебе прекрасное пальто, а воротник можно сделать из подола моей шубы, ведь она слишком длинна. Как по-твоему, детка, а?»

Прошел месяц. После очередной придирки ворчливой хозяйки отец и дочь погрузили свои вещи на тачку и, следуя за тачечником сквозь непрерывную завесу падающего снега, направились в Дом культуры Советской Армении.

Александр Афанасьевич был так непритязателен, что встретил с неподдельной радостью предложение директора поселиться в канцелярии. «Знаете ли, я прекрасно устроился, — говорил он знакомым, обеспокоенным его жилищным положением. — Комната чудесная, большая, светлая и после четырех часов в моем полном распоряжении!»

Днем она ему совсем не нужна. Он ведь с утра до ночи занят музыкальными делами! Во-первых, ему необходимо познакомиться с домбровым оркестром Любимова, чтобы поделиться полученными сведениями с Буню, который впервые на Кавказе осуществил идею расширения диапазона восточных инструментов.

Во-вторых, у него уйма издательских дел, касающихся оформления в армянском стиле обложек и титулов издаваемых пьес, подготовки монографий об армянских композиторах и т. д. и т. п., причем все это

требует серьезных обсуждений в Армянском музыкальном коллективе, своего рода филиале музыкальных учреждений Армении.

Увлекаясь, как в студенческие годы, московскими зрелищами, композитор и вечерами редко бывал в канцелярии. Если ему и приходилось оставаться в Доме культуры, то он проводил время в концертном зале, присутствуя на репетициях будущего Квартета имени Комитаса или Драматической студии, которая готовила артистов для Гостеатра Армении.

Настоятельная необходимость в уединении появилась у него лишь с началом подготовки к концерту, назначенному на 25 декабря. До поздней ночи засиживался он с композитором Арамом Кочаряном над исправлением партий и перепиской дубликатов.

Его очень беспокоил оркестр, участвовавший в концерте. Недовольные администрацией, оркестранты были, казалось, целиком погружены в свои дразги. Даже на генеральной репетиции, происходившей в утро концерта, они не слушались настойчивых указаний Александра Афанасьевича, занятые перебранкой с администрацией.

Как вспоминает Д. Рогаль-Левицкий, который видел композитора перед самым выходом на эстраду, Александр Афанасьевич страшно волновался перед концертом, не зная, как будет вести себя оркестр. «Но, к счастью, все обошлось более или менее благополучно. Публика принимала Спендиарова с бурными овациями, и обычный симфонический концерт превратился в чествование композитора. Такой встречи не видел, между прочим, ни один приезжий концертант, и разве только встречи Сергея Прокофьева и Н.К. Метнера могли соперничать с приемом Спендиарова».

Кого только не было в «курительной» Дома союзов, где тридцать четыре года назад, охваченный благоговением перед Чайковским, стоял в толпе его почитателей студент юридического факультета Спендиаров! Не говоря уже о членах музыкального коллектива Араме Хачатуряне, Е. Будагяне, Араме Кочаряне, здесь были композиторы Василенко, Глиэр, Гнесин, Мясковский и группа студентов консерватории, среди которых выделялись нарочитой простотой одежды Александр Давиденко и Николай Чемберджи.

«Александр Афанасьевич... дирижировал концертом из своих сочинений... с крупнейшим успехом, — записал в своих воспоминаниях Михаил Фабианович Гнесин. — Нравились и сочинения Александра Афанасьевича, картинные и колоритные, и чрезвычайно увлекательные истолкования их автором. Эта темпераментность, вскрывшаяся на эстраде, шла как-то вразрез с флегматичным внешним обликом композитора и малой подвижностью его лица. Милый юмор... отчасти произвольный и

столь же милое чудачество, равно как и проявление поэтической рассеянности, породившей столько забавных рассказов о Спендиарове, увеличивали обаяние этого жизненно непритязательного, добродушного человека... Меня поразила острота образной зарисовки в еврейском танце — пьесе, так ярко исполнявшейся Спендиаровым в последний его приезд в Москву. Александр Афанасьевич был удовлетворен, когда я выразил ему восхищение этой пьесой. Он был у меня, и мы много беседовали с величайшим взаимным доброжелательством. Он очень звал меня на ближайшую весну в Эривань...»

Об Эривани, Армении Спендиаров говорил московским знакомым охотно и увлекательно. Консерватория, оркестр, строительство огромного Народного дома, перспективы построения величественного города — все это было предметом вдохновенных рассказов композитора.

Подготовка к концерту отняла у него много сил. Первые дни после своего выступления Спендиаров буквально валился с ног. 31 декабря дочь позвонила ему в Дом культуры, предлагая встретиться вместе наступающий 1928 год. «Это ты, Маришка? — услышала она его слабый, утомленный голос. — Нет, детка, я страшно устал, я сейчас лягу спать...» Но спать ему не пришлось. Его подняли с постели студии ДКСА, и он ожил, развеселился и даже пел с молодежью армянские песни.

Перед отъездом в Эривань силы композитора снова упали. Но это не помешало ему тщательно готовиться к концерту в пользу Общества беспризорных детей и со свойственной ему внимательностью отнестись к творчеству Арама Хачатуряна, решившегося после долгих колебаний показать ему свои сочинения^[104].

Накануне отъезда Александр Афанасьевич зашел проститься с дочерью, не выходившей из дому из-за простуды. Уславливаясь о встрече летом в Крыму, он вдруг сказал шутливым тоном, как бы заранее не веря в реальность своих слов: «Знаешь, Маришка, у меня чудесный план: поедем-ка со мной в Эривань, самое разлюбезное дело!» — на что так же мимоходом, не веря в серьезность его предложения, она ответила: «Ну что ты, папа, куда же я сейчас поеду!»

В поезде он чувствовал себя неважно, но приехал в Тифлис и тотчас же ожил. То ли лучи южного солнца освежили композитора, то ли близкая ему атмосфера милого, гостеприимного города, но, по воспоминаниям тифлисских знакомых, Спендиаров «горел» и «кипел» в этот приезд в Тифлис. Он был полон впечатлениями о Москве, о беседах с московскими музыкантами и планами на будущую постановку «Алмаст», в успех которой он вдруг страстно поверил.

«Я собиралась в то время в Ленинград для участия в концерте певицы Арцруни, — рассказывала пианистка Тигранова-Тер-Мартirosян. — Узнав о моей скорой встрече с певицей, он повторил несколько раз: «Когда увидите Арцруни, непременно предупредите ее, что Алмаст — драматическое сопрано!» В те дни все помыслы его были заняты постановкой «Алмаст» в Тифлисе и подыскиванием исполнительницы для партии героини. Он опаздывал на поезд, поэтому мы почти бегом провожали его до трамвая, но это несколько не изменило течения его мыслей. Когда трамвай тронулся, он высунулся из него и, запыхавшийся, раскрасневшийся, крикнул мне, приложив ладонь к губам: «Так не забудьте же ей сказать, что Алмаст — драматическое сопрано!»

В Эривань он ехал с Варткезом Хачатуряном, которого встретил накануне в Тифлисской опере. Они сидели рядом на нижней полке вагона. Была глубокая ночь. Рассказывая о событиях, сопровождавших его поездку, он вдруг заявил, что хотел бы в тридцатом году поехать в Москву вместе с молодым армянским оркестром. «Мне нужна душа ваша, понимаешь, душа, с которой вы играете мои вещи», — повторил он несколько раз.

Прибыв в Эривань, композитор дал интервью корреспонденту газеты «Хорурдаин Айастан»: «Моей ближайшей задачей является постановка «Алмаст». Должен сказать, что мое искреннее желание впервые поставить оперу в Эривани по техническим причинам не удастся. Поэтому я воспользуюсь предложением Грузинской государственной оперы и поставлю «Алмаст» в Тифлисе. Мое трехлетнее непосредственное знакомство с народным творчеством Советской Армении, как и со всей национальной музыкальной культурой, с большим подъемом экономики и красивой и богатой природой отдельных районов нашей страны, по моему глубокому убеждению, явится сильным стимулом для дальнейшего музыкального творчества. И все мои дальнейшие работы будут связаны с Советской Арменией. После постановки «Алмаст» я займусь музыкальным оформлением своих впечатлений.

Как известно, мой концерт состоялся в Москве 25 декабря. Я чрезвычайно удовлетворен тем отношением, которое проявили к концерту как аудитория, печать, так и мои товарищи композиторы. Особенно рад подчеркнуть, что все оценки, данные моему концерту, связывались с достижениями армянской музыки, причем акцентировалась глубина народной музыки...»

Теперь, когда путешествие осталось позади и были подведены все итоги, пора было переходить к повседневным делам. Прежде всего следовало привести в порядок квартиру, изрядно запущенную за время его

отсутствия.

«Закопченная мною керосинка засияла золотом и голубой эмалью, — рассказывал его сын Тася. — Снова, при поднятии фитиля на известную высоту, она стала гудеть на ноте «фа». Папа с радостью прислушивался к этой ноте и даже проверял ее на фортепьяно.

Установив внешний порядок, необходимый для его внутреннего покоя, папа стал говорить об оборудованной «как следует» ванной комнате. Энергично взявшись за хлопоты, он внушал мне, что хватит жить кое-как, что пора позаботиться о внешнем устройстве жизни. Наталкиваясь на мое полнейшее равнодушие, он восклицал сокрушенно: «Какая у тебя кислая физиономия, Таська! Ну как ты будешь жить!..»

Композитор вставал очень рано и приготавливал утренний чай, а затем садился с гостившим у него Романосом Меликяном за фортепьяно и проигрывал песни Комитаса. Что-то необычайно трогательное было в отношении к хрупкому Спендиарову огромного, басистого Романоса Меликяна. Очарованный талантом Александра Афанасьевича, он не отходил от него ни на шаг, наклоняясь к нему всем корпусом и впитывая в себя каждое его слово.

Еще осенью консерваторию покинули соратники Александра Афанасьевича — А. Айвазян и И. Оганезян. Композитор был удручен этим событием и на первых занятиях с оркестром выглядел печальным и угрюмым. Но мог ли он устоять против нетерпеливой радости, которая так и светила в глазах его учеников!

Вот трубач Гугуш Тараян. Еще недавно на замечание композитора о пропуске ноты он отвечал: «Одна нота — небольшое дело», — а теперь, сделавшись настоящим музыкантом, он строго подтягивает новичков.

Вот виолончелист Корюн Ананян. Дирижируя, Александр Афанасьевич видит его черные, бархатные, густо опущенные ресницами глаза, в которых, как в зеркале, отражается малейший нюанс его дирижерской воли.

Вот сменивший флейту на ударные инструменты Варткез Хачатурян. Его сухопарая фигура маячит 3 всюду, где только появляется любимый учитель.

Вот гобоист Татул Алтунян, валторнист Шатир, «чичероне» Александра Афанасьевича Хайк Гиланян и Армен Вартамян, Рубен Степанян, Лева Мартиросян, Карагезян, Алоян, Агбалян... После занятий они идут его провожать, и, дойдя до дому, композитор еще долго стоит с ними на панели, горячо о чем-то беседуя и размахивая тростью. В его петлице букетик фиалок. Мартовское солнце отражается в весенних лужах

и стеклах его очков. Спендиаров увлечен идеей устроить концерт в ознаменование 35-летия писательской деятельности Горького. Алексей Максимович любит Бетховена. Надо включить в программу увертюру «Эгмонт». Надо исполнить также балладу «Рыбак и фея» на слова юбиляра.

В солнечной комнате композитора звучит давно забытая музыка, оживляя образы и слова, получившие теперь новое звучание. Как бы подытоживая мысль писателя, высказанную когда-то в его ялтинском доме, Александр Афанасьевич говорит, выступая 8 марта на собрании в консерватории: «Прежде только горсточка людей пользовалась всеми благами земными, теперь же наступило время, когда все доступно всем».

Он засиживался за фортепьяно до поздней ночи. Готовясь к выпускным экзаменам, сын его слышал, как после занятий с учеником консерватории Фоминым, разучивавшим к концерту балладу «Рыбак и фея», он проигрывал «Несжатую полос»), посвященную Амани, легенду «Бэда-проповедник», романс «К луне»^[105]. Прошлое властно захватывало его существо, накладывая на него тень печали.

Вышли на поверхность давно лежавшие под спудом воспоминания юности. Однажды, восхитившись в цирке зверями Дурова, он рассказал дрессировщику о виденном в детстве дрессированном жаворонке и предложил написать ему квартет для птиц. Воспоминания о невыполненных намерениях вызвали острое сожаление о потерянном времени. Композитор говорил сыну: «Мой завет тебе, Таська, никогда ничего не откладывай...»

Во всех его действиях чувствовалась теперь обостренная жажда творчества. Спендиаров был занят подготовкой к концерту и нахлынувшими на него издательскими делами, и все-таки он ухватился за идею Романоса Меликяна писать с ним комическую оперу «Кач-Назар» и уже подумывал о помпезно-комическом марше. Композиторы заботились о либретто, обсуждали вместе будущую инструментовку. Но все это лишь поверхностно занимало Спендиарова. Его воображение было заполнено образами давно вынашиваемого им сочинения.

«Это будет симфоническая картина в трех частях, — говорил он домочадцам, собиравшимся в кухне за утренним завтраком. — Первая, наиболее монументальная часть — природа Армении, вдохновившая меня: Арарат, колорит библейский. Вторая, окончательно сложившаяся, — фольклорная Армения, яркий армянский стиль: игры, пляски, песни, гадание... И, наконец, третья часть — Севан. Сначала спокойное, великолепное в своем спокойствии озеро. Потом оно начинает бушевать, и поднимается буря, символизирующая пробуждение армянского

народа»^[106].

Он садился за фортепьяно и пробовал импровизировать, но тут же со вздохом опускал крышку и, пройдясь несколько раз по комнате, останавливался у стола, на котором лежали рукописи. «Алмаст» — мой тяжелый крест, — говорил он сыну, — работа над нею страшно затянулась. Мне надо взяться за что-нибудь новое, а она связывает меня по рукам и ногам...»

Необходимо поскорее закончить инструментовку и сделать клавираусцуг. Софья Яковлевна Парнок настаивает на постановке оперы на большой сцене. Соблазнившись этой идеей, он уже заручился предложением Тифлисского театра, но не следует ли выверить ее раньше на малой сцене? Может быть, придется внести некоторые изменения, чтобы подчеркнуть отдельные важные моменты? Например, когда он рассказывал содержание оперы виолончелисту Малунцяну, тот выразил неудовольствие, что героиня оперы изменница. Композитору уже не раз говорили об этом. Но ведь сложность образа княгини и состоит в борьбе любви и честолюбия, и в конце концов эта борьба и привела ее к глубокому раскаянию. Все это необходимо подчеркнуть и как можно лучше довести до слушателя.

Весной у композитора усилилось сердечное недомогание. Врачи настаивали на немедленном отдыхе, жена упорно призывала его в Судак, чтобы «отдаться добросовестно восстановлению здоровья и творчеству». Решив отложить отъезд до мая, композитор мобилизовал все свои силы на выполнение «неотложных» эриванских дел. Началась подготовка к концерту в пользу фонда консерватории, в программу которого впервые в Эривани были включены танцы из Второй сюиты. Композитор работал с прежним энтузиазмом, не допуская ни малейшей неточности.

На генеральной репетиции ему сделалось плохо, и, боясь повторения приступа, он просил альтиста Армена Вартаняна захватить на концерт валерьяновые капли.

Выступление состоялось 16 апреля.

«Все были, вся Эривань, — рассказывала мать скульптора Г. Чубара, работавшего впоследствии над памятником композитору. — Вначале все было хорошо, но на половине «Персидского марша» он схватился за лоб и откинул голову назад. Запахло валерьянкой. На сцену бросились присутствовавшие на концерте врачи. Композитора посадили на стул. Я видела сбоку, как он сидел, закрыв рукой глаза. Ясно было, что концерт продолжаться не может, и я направилась к выходу. Вдруг вижу: врачи вернулись в зал, а он поднялся с места, взял палочку и взмахнул ею. Слушать музыку я больше не могла. Я только смотрела на Спендиарова:

сам маленький, фрак на нем аккуратный, жест четкий. И вдруг я поняла, что он не мог не доиграть свое произведение! Публика буквально обезумела: она хлопала, кричала, стучала, а он кланялся, держа руку на сердце».

18 апреля программа была повторена в Доме Красной Армии.

19-го, по распоряжению Наркомпроса, Спендиарова осмотрела комиссия врачей. «Приехать сейчас в Крым ни в каком случае не могу, — писал он Варваре Леонидовне 23 апреля. — Осматривавшая меня на днях комиссия врачей нашла, что мне нужно серьезно полечиться со стороны сердца, и отправляет меня в Кисловодск...»

Отложив заботу о здоровье до Кисловодска, композитор решился еще на третье дирижерское выступление. Оно состоялось в Доме культуры в понедельник 23 апреля 1928 года.

«До сих пор в моем воображении живы его движения, ритмика его рук, — пишет об этом концерте Аветик Исаакян. — Он как бы прощался с нами, обращенный спиной к нам, он шел, шел и уходил от нас...»

Весеннее цветение было в полном разгаре, эриванские сады покрылись благоуханным облаком.

Спендиаров участил свои прогулки в фруктовый сад на Докторской. Там уже подготавливался фундамент для будущего Народного дома^[107] и находилась наскоро построенная контора Таманяна. Композитор часто саживал в дощатом кабинете архитектора, подробно расспрашивал о будущем строительстве и педантично изучал чертежи и планы.

В один из последних дней апреля он ездил с артистом Абеяном и его семьей на гидростанцию. Быстротечная Зангу в розово-белом цветении садов привела его в восторг. Вернувшись домой, он затеребил сына: «Брось все! Пойди посмотри, какая красота!»

Жизнь ни на мгновение не теряла для него привлекательности. Здоровье все ухудшалось, но не угасал интерес к будущему, напротив, Спендиаров радостно отмечал все новые и новые таланты^[108].

Постоянный нервный подъем вызывал бессонницу. Романос уехал в Тифлис, и, избрав музыкальным «духовником» проживавшего в его квартире комдива, А.П. Шахназарова, Спендиаров играл ему ночью отрывки из «Алмаст». Вся фигура его, облитая мягким светом лампы, прикрытой красной бумагой, выражала глубочайшую сосредоточенность. Чаще всего он играл пляску Алмаст. До конца жизни он был влюблен в свою героиню и видел ее прообраз в каждой красивой женщине Армении. В последние дни его жизни все связанное с оперой вытеснило остальные

музыкальные тревоги. Как-то он сказал сыну: «Если бы пропала рукопись «Алмаст», я бы покончил с собой».

Несмотря на все нарастающую слабость, одно за другим заканчивал он свои «неотложные дела». Он устроил в Гостеатр талантливую воспитанницу детдома Майрануш Бароникян и в том же состоянии недомогания, уже не покидавшем его в последнее время, отнес обещанную партитуру молодому дирижеру Чарекяну.

В воскресенье 29 апреля к обычному болезненному состоянию прибавился озноб. И все-таки, испытывая потребность в домашнем уюте, он пошел на воскресный обед в семью знакомого доктора.

День был серый. Моросил дождь. Композитор расположился в глубоком кресле, но за ним целой гурьбой пришли ученики, чтобы отвезти к виолончелисту Ананяну, который отмечал свой день рождения. Они искали композитора повсюду и, найдя, увезли его с собой, не мысля себе семейного торжества без любимого маэстро. Но озноб не проходил, и, не в силах сидеть за праздничным столом, Александр Афанасьевич попросил разрешения прилечь на кушетку.

«В самом начале болезни папа был какой-то суровый, — рассказывал его сын Тася. — В первые дни, когда он лежал еще дома, он все просил разыскать забытую им где-то трость. Повседневные заботы все еще тяготели над ним. Вставая с постели, — он ходил на кухню, чтобы удостовериться, не коптит ли керосинка. Беспокоил его также выбор цвета сукна для пианино, деловито обсуждаемый с настройщиком. Навещавший его врач Мелик-Адамян вскоре определил крупозное воспаление легких. Услышав, как он сообщил об этом комдиву, папа подозвал меня и сказал с суровым выражением лица: «Крупозное воспаление — это, брат...» 3 мая я отвез его в больницу. Закутанный в длинную шубу, он медленно спускался по лестнице, ставя на ступеньку сперва одну ногу и осторожно опуская за нею другую. В прихожей больницы я усадил его на скамью. Ждать пришлось довольно долго. Потом по длинному коридору его повели в палату.

Он просил меня не приходить к нему каждый день, боясь, что это отразится на моих экзаменах. Но на следующее утро я пришел». «Рассказывай, рассказывай, — с нетерпением проговорил он, как только я появился в дверях. — Как там ремонт? Знаешь, Таська, мне очень нравится, как здесь выкрашены стены. Надо будет обязательно выкрасить так в нашей ванной...»

Вечером ему стало хуже. Начался бред. Придя в себя, он сказал ухаживавшей за ним практикантке Баласанян:

— Мне кажется, будто я прижимаю к боку папку с нотами, чтоб не отняли, и от этого боль...

Ему казалось в забытии, что он делает музыкальный доклад, что он слышит в оркестре крещендо... Очнувшись, он рассказал об этом врачу и, объяснив ей, что такое крещендо, добавил, широко улыбаясь:

— Вот поправлюсь, приглашу вас на концерт...

Пятого утром он был озабочен телеграммой, которую должен был послать в ответ на приглашение выступить в Баку. В тот же день он с интересом выслушал консерваторские новости, принесенные ему навестившим его кларнетистом Довгань.

Несмотря на боль в боку и затрудненное дыхание, его не покидало чувство юмора.

— Тут был министр, — сообщил он сыну с улыбкой, — он сказал мне: «Поправляйтесь, и мы вас — фюить! — в Кисловодск», а я ответил ему: «А не пошлете ли вы меня — фюить! — на тот свет?..»

Шестого мая ему стало значительно хуже. В час дня зашел знакомый врач. Александр Афанасьевич встрепенулся и сказал, виновато улыбаясь:

— А... доктор Гро! Я не узнал без очков... Потом он повторил вопрос, заданный утром де журившей подле него практикантке:

— Скажите, не будет ли рокового конца?

Седьмого мая пришел доктор Баграмов — племянник Спендиарова. Больной дышал страшно тяжело. Баграмов сказал ему:

— Вот подождите, дядя Саша, пройдет сегодняшний день, и вам станет легче.

Спендиаров взглянул на него уходящим взглядом и проговорил:

— А как я сегодняшний день переживу?

Днем он попросил, чтобы все практиканты были возле него. Через каждые пять минут ему давали кислород. В два часа дня, оторвавшись от кислородной подушки, он сказал:

— Мне легче дышать от кислорода!

И тут же забылся. Через несколько минут он открыл глаза, они были уже неподвижны, схватился за шнурок электрического звонка, два-три раза вздохнул — и его не стало...

Москва. 28 апреля 1960 года

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. А. СПЕНДИАРОВА

1871, 20 октября (1 ноября по новому стилю) — родился в местечке Каховка Таврической губернии.

1882 — Поступил в Симферопольскую классическую гимназию.

1890 — Поступил на естественный факультет Московского университета.

1892-Начинает заниматься теорией композиции с Н.С. Кленовским.

1896- Начинает заниматься теорией композиции с Н.А. Римским-Корсаковым.

1900 — Сочиняет первое крупное симфоническое произведение — «Концертную увертюру».

1901, 5 июня — Первое публичное исполнение «Концертной увертюры». Это событие А.А. Спендиаров считал началом своей композиторской деятельности.

1901, июль — Переезд в Ялту.

— Баллада «Рыбак и фея».

— Сюита «Крымские эскизы», первая серия.

1905 — Симфоническая картина «Три пальмы».

1906, 2 марта — Первое исполнение «Трех пальм» в Петербурге.

— Армянская героическая песня «Могила Агаси»,

— Сюита «Крымские эскизы», вторая серия. 1915 — «Татарская колыбельная».

1916- Встреча с Ованесом Туманяном.

1918–1923 — Опера «Алмаст».

1923, 23 августа — Первое исполнение на концерте в Ялте первой сюиты из оперы «Алмаст» под управлением А.А. Спендиарова.

1924- Переезд в Армянскую ССР.

— Начало создания Армянского симфонического оркестра.

— 10 декабря — Первый концерт Эриванского консерваторского оркестра под управлением А.А. Спендиарова.

1925- Сюита «Эриванские этюды».

3 октября — Празднование двадцатипятилетия композиторской деятельности А.А. Спендиарова,

июль — Концерт в Тифлисе. Первое исполнение Второй сюиты из

оперы «Алмаз» (под управлением А.А. Спендиарова).

1928, 23 *апреля* — Последний концерт А.А. Спендиарова.

1928, 7 *мая* — Смерть А.А. Спендиарова.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные сочинения А.А. Спендиарова

I. Вокальные сочинения с сопровождением фортепьяно:

- «Очарован твоею красой» (сл. П. Козлова), 1888.
«Нет вопросов давно» (сл. В. Соловьева), 1892.
«Песня утопленницы» (сл. А. Подолинского), 1895.
«Не знаю отчего» (сл. Л. Мея), 1895.
«К розе» (сл. А. Цатуряна), 1894.
«Они любили друг друга» (сл. М. Лермонтова), 1895.
«О любви твоей, друг мой, я часто мечтал» (сл. С. Надсона), 1898.
«Он спал, разметавшись в своей колыбели» (сл. С. Надсона), 1899.
«Взгляни, на уступе высоком» (сл. С. Брунса), 1900.
«Восточная колыбельная песня» (сл. Р. Патканьяна), 1900.
«Я б тебя поцеловала» (сл. А. Майкова), 1901.
«Заря лениво догорает» (сл. С. Надсона), 1901.
«К луне» (сл. Шелли), 1906.
«Веселись, о сердце-птичка» (сл. А. Фета), 1906.
«Только встречу улыбку твою» (сл. А. Фета), 1906.
«Песнь Гафиза» (сл. А. Фета), 1906.
«Восточная легенда» (сл. С. Маршака), 1906.

II. Вокальные сочинения с сопровождением симфонического оркестра:

- «Бэда-проповедник» (сл. Я-Полонского), 1907. «Рыбак и фея» (сл. М. Горького), 1902.
«В ожидании» (сл. А. Голенищева-Кутузова), 1904.
«Озимандия» (сл. Шелли), 1904.
Две песни крымских татар: «Колыбельная» и «Плясовая» (сл. А. Спендиарова), 1915.
«Песнь армянского дружинника» (сл. А. Спендиарова, навеянные эпилогом романа Х. Абовяна «Раны Армении»). 1914.
«К Армении» (сл. И. Иоаннисяна), 1915.

Армянская песня «К возлюбленной» (русский текст А. Спендиарова), 1916.

III. Вокальные ансамбли:

«Птичка божия» — вокальный квартет с сопровождением фортепьяно (сл/ А. Пушкина), 1899.

«Несжатая полоса» — элегия для смешанного хора и баса-соло с сопровождением оркестра (сл. Н. Некрасова), 1902.

«Памяти В.В. Стасова» — кантата для хора с сопровождением фортепьяно (сл. Лихачева), 1907.

«Ветка Палестины» — вокальный квартет с сопровождением оркестра (сл. М. Лермонтова), 1901.

«Славься, первый майский день» — песня-гимн для смешанного хора с сопровождением оркестра (сл. А. Спендиарова), 1917.

«Украинская сюита» для хора с сопровождением оркестра, 1921.

IV. Мелодекламации с сопровождением оркестра:

«Мы отдохнем» (сл. Чехова, монолог Сони из пьесы «Дядя Ваня»), 1910.

«Эдельвейс» (сл. М. Горького), 1911.

V. Инструментальные сочинения:

а) для фортепьяно:

Вальс В-dur, 1892.

Вальс Es-dur, 1893.

Скерцо, 1894.

Баркарола, 1895.

«Хайтарма», 1895.

Менуэт, 1897.

Берсез, 1897.

Полонез, 1894.

Траурный марш, 1894.

б) для скрипки и фортепьяно:

Романс, 1892.

Колыбельная, 1893.

Мелодия, 1894.

Канцонетта, 1896.

в) для виолончели и фортепьяно:

Романс g-moll, 1893.

Романс f-dur, 1893.

Баркарола, 1895.

VI.Инструментальные ансамбли:

Кантабиле для струнного квартета, 1895.

Прелюдия для струнного квартета, 1895.

Четырехголосная fuga для струнного квартета, 1898.

VII.Симфонические сочинения:

Две пьесы для малого оркестра: «Менуэт», 1895, и «Берсез», 1897.

«Старинный танец» для малого оркестра, 1896.

«Концертная увертюра» для большого симфонического оркестра, 1900.

«Крымские эскизы» (первая серия), сюита для оркестра, 1903.

«Три пальмы», симфоническая картина для большого оркестра (на стихотворение Лермонтова), 1905.

«Концертный вальс» для оркестра, 1907.

«Траурная прелюдия памяти Н.А. Римского-Корсакова» для оркестра, 1908.

«Крымские эскизы» (вторая серия), сюита для симфонического оркестра, 1912.

«Разудалые бойцы», марш для большого оркестра на темы старинных казачьих военных песен, 1915.

«Этюд на еврейские темы» для малого оркестра, 1921.

«Эриванские этюды» для симфонического оркестра, 1925.

«Две оркестровые сюиты из оперы «Алмаст»:

1 «Надир-шах и Татул», 1923:

а) «Персидский марш»,

б) «Молитва персов»,

в) «Атака»,

г) «Победоносное возвращение Татула».

2. «Пир в честь Татула», 1924.

а) «Застольное веселье, выход шута»,

б) «Пляска девушек»,

в) «Пляска мужчин»,

г) «Пляска Алмаст».

Симфоническая картина «Измена» из оперы «Алмаст», 1924.

VIII. Опера:

«Алмаст» — опера в четырех актах, либретто Софьи Парной (армянский текст Т. Ахумяна), по поэме «Взятие крепости Тмкаберд» Ованеса Туманяна, 1918–1923 гг. (над оркестровкой оперы А. Спендиаров работал до конца жизни).

Основная литература о жизни и творчестве А.А. Спендиарова

А. Спендиаров, Автобиография. «Советская музыка», 1938, № 4.

Александр Спендиаров, Письма. Составитель К. Григорян. Изд-во АН СССР, Ереван, 1962.

А. Глазунов, Воспоминания об А.А. Спендиарове. «Советская музыка», М., 1939, № 9-10.

А. Исаакян, Из моих воспоминаний (на армянском языке). Ереван, 1946.

С. Василенко, Страницы воспоминаний. М.-Л., 1948.

Г. Тигранов, А.А. Спендиаров (по материалам писем и воспоминаний). Ереван, изд-во «Айпетрат», 1953.

А. Татевосян, Современники об Ал. Спендиаряне (на армянск. языке). Изд-во «Айпетрат», Ереван, 1960.

Б. Асафьев, Встреча со Спендиаровым (В книге: «Очерки об Армении». М., «Советский композитор», 1958).

Г. Тигранов, Александр Афанасьевич Спендиаров. Монография. Музгиз, 1959.

В. Корганов, М. Сарьян, Воспоминания об А.А. Спендиарове. «Советская музыка», 1939, № 9-10.

А. Тер-Гевондян, Воспоминания о Спендиарове. «Советская музыка», 1956, № 6.

А. Барсамян, «Алмаст» А.А. Спендиарова. Музгиз, М., 1958

Х. Торджян, «Алмаст» А. Спендиарова. «Советская музыка», 1939, № 9-10.

С. Коптев, М. Тэрьян, Раздел о симфонической музыке Спендиарова в статье «Симфоническая музыка и инструментальный концерт» в сб. «Музыка Советской Армении». М., Музгиз, 1960.

Э. Абасова, Опера «Алмаст» А. Спендиарова. Баку, Азербайджанское Гос. муз. изд-во, 1958.

С. Гаспарян, Александр Спендиаров (на армянск. языке). Ереван, изд-во «Айпетрат», 1951.

К. Григорян, Александр Спендиаров (на армянск. языке)

Ереван, Изд-во АН АССР, 1952

М. Штейнберг, Воспоминания об Александре Спендиарове. Ереван, «Хорурдаин арвест», 1938, № 2.

Н. Туманян, Александр Спендиаров и Ованес Туманян. Ереван, «Советакан арвест», 1941, № 5.

А. Татевосян, Александр Спендиарян. Ереван, «Советакан граканутюн ев арвест», 1951. № 1.

А Шавердян, А.А. Спендиаров. Краткий очерк жизни и творчества. Изд-во «Советский композитор», 1957,

notes

Примечания

«Золотая земля» (татарск.). *(Здесь и далее примечания автора.)*

Карасубазар — ныне Белогорск

3

Крепость, которая защищала от разбойников склады с товарами

Татарским ансамблем (скрипка, кларнет, зурна, бубен).

Привожу воспоминания Варвары Леонидовны Спендиаровой, жены композитора и дочери племянника Айвазовского. «Я была крошечной девочкой. Как-то приехал к нам в Петербург дедушка Айвазовский. Он показал моему отцу птиц, лошадок, рыб, сделанных из шелковой бумаги. Помню, целая коробка у него была. Сделаны они были удивительно: у птиц каждое перышко выделано, у лошадок каждый мускул чувствуется. Ну, просто как живые! Он сказал папе: «У Спендиаровых есть удивительный ребенок. Он целые дни мнет ручками шелковую бумагу, выделявая эти вещи. Я привез показать в Академии».

Калыб — строительный материал из необожженной глины.

Слоеными пирожками на меду с орехами.

Ойнава — татарский танец.

Татарская посуда.

Татарский ансамбль: даул и две зурны.

Татарский танец.

Так позже писал он сам в автобиографии.

В этот период написаны неизданные романсы «Я жду тебя», «В грязи, в позоре преступлений», дуэт «Ярко солнце весеннее блещет»

По рекомендации Кленовского он брал уроки скрипки у первого скрипача Большого театра Пекарского

Привожу отрывок из автобиографии Спендиарова: «Впоследствии в Москве наиболее сильное впечатление из всех слышанных мною симфонических сочинений на меня произвела «Шехеразада» Римского-Корсакова, а из опер — «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Бородина и «Самсон и Далила» Сен-Санса».

«Программа литературно-музыкального вечера 5 декабря 1891 года в доме Гавлич, Большой Казенный пер.

Отд. 1. Хор из оперы «Рогнеда» Серова — исп. хор.

«Люблю тебя» Грига и «Твои глаза горят» Эрлиха — исп. Л.А. Спендиаров.

Анданте Чайковского и Канцонетта Годара — соло на скрипке А.А. Спендиаров.

«Музыкальный момент» Шуберта и «Ноктюрн» Глинки — соло на виолончели А. О. Палице.

Отд. 2. Трио № 1 Мендельсона — Бартольди — исп. О. Я. Филиппова, А. Спендиаров и А. Палице» и т. д.

Отца известной писательницы Мариэтты Шагинян

По воспоминаниям Брунса, эта сходка была связана с 30-й годовщиной «освобождения крестьян»

Из воспоминаний И.Р. Налбандяна: «Когда я показал «Романс» своему профессору Л.С. Ауэру, он пришел в восторг. Кашперова, ученица Рубинштейна, сидела тогда у него в классе. Ауэр сказал ей: «Как горячо написано и какое горячее исполнение!»

Александр Никитич Ермаков — соученик А. Спендиарова по гимназии.

В 1944 году мне удалось обнаружить письма А.Д. Спендиарова к В.А. Эберле, умершей в тридцатых годах от паралича. Передавая письма, сестра Варвары Аполлоновны сообщила мне, что в течение всей своей болезни, длившейся годы, Варвара Аполлоновна хранила эти письма под подушкой.

Романсы, посвященные В.А. Эберле: «Нет вопросов давно» на слова В. Соловьева, «Еще я не люблю» на слова С. Минского, дуэт «Умчимся» на слова Н. Языкова, «Дитя, не плачь» на слова П. Козлова.

В просторечии — татарский ансамбль: две зурны и даул.

Отрывок из письма к В.А. Эберле от 12 апреля 1894 года: «Слышали ли Вы оперу «Самсон и Далила» Сен-Санса? Советую пойти послушать, как только она пойдет в Париже. Я слушал её два раза в Итальянской опере (в театре Шелапутина) и пришел в неописанный восторг. Все в ней есть: и широкие, благородные мелодии, и строго выдержанные в стиле хоры, и оригинальные восточные мотивы, обработанные с замечательным пониманием духа восточной музыки».

Кяманча — народный смычковый инструмент.

В этот период были написаны: Прелюд, Кантабиле и Менуэт для струнного квартета; Баркарола для фортепьяно; были обработаны: «Хайтарма» для фортепьяно, «Татарская песня» для скрипки и «Фантазия на крымские мотивы» для оркестра. («Фантазия» исполнялась 27 февраля 1896 года в Москве Охотничьем клубе под названием «Песни и пляски крымских татар», а также 6 июля 1896 года в Симферополе.)

Он окончил в Дерпте университет со званием кандидата геологии и сельского хозяйства.

С тех пор и поныне на Международных геологических конгрессах присуждается премия имени Спендиарова.

Любовь к племяннику он выразил в посвященной ему колыбельной для фортепьяно и в романсе «Он спал, разметавшими в своей колыбели» из цикла («Они любили друг друга», «О любви твоей, друг мой, я часто мечтал», «К розе»), посвященного «Памяти брата»

По словам М.Ф. Гнесина, Николай Андреевич говорил о Спендиарове: «Это подлинный талант», — и, в частности, указывал, что это исключительный талант в области оркестровки, а похвалу в этом смысле можно было услышать из его уст очень редко.

Из воспоминаний А.К. Глазунова: «Он (Р.-Корсаков) был чрезвычайно доволен результатом работ А.А., видя в нем даровитого композитора и серьезного музыканта, легко овладевающего техникой письма»

Айвазовский писал тогда Варваре Леонидовне: «Милая Варя!.. Мы затеяли итальянский вечер, живые картины в движении, уличные сцены в Неаполе и карнавал в Венеции. Состоится он 21 февраля. Знаю, что тебе невозможно приехать, но прошу уговорить любезного молодого Моцарта Александра Афанасьевича приехать к 21 февраля, но желательно, чтобы он приехал дня за два, то есть девятнадцатого, тогда он может быть полезен как музыкант».

По воспоминаниям внука Айвазовского К.К. Арцеулова, гостившего в то лето у деда, Спендиаров играл тогда свои «крымские вещи», среди которых была «Хайтарма» из первой серии «Крымских эскизов».

Передаю отрывок из воспоминаний И.Р. Налбандяна, относящийся к созданию «Хайтармы»: «В девяностых годах в Качинской долине, в Крыму, я записал тему «Хайтармы». Я сделал ее для скрипки. Саша написал аккомпанемент и оркестровал её. Потом Саша переделал ее в самостоятельное произведение, а интродукцией к нему сделал песню «Бей оглуным».

«Восточная колыбельная» на слова армянского поэта Рафаэля Патканяна вошла в цикл романсов: «Заря лениво догорает», «Я б тебя поцеловала» и «Взгляни, на уступе высоком»! (Весь цикл посвящен Варваре Леонидовне Спендиаровой.)

Привожу и положительную рецензию («Петербургский листок»): «Очень хорошее впечатление произвела «Концертная увертюра» молодого композитора г-на Спендиарова, исполнявшаяся в первый раз... «Концертная увертюра» — первый серьёзный труд, отданный ее автором на суд публики. В своем... сочинении Спендиаров проявил несомненное композиторское дарование».

Жена А. Г. Меликенцова.

Из воспоминаний Георгия Александровича (Жоржа) Меликенцова: «Еще в 90-х годах прошлого столетия у нас в дома разучивался для какого-то благотворительного вечера квартет Чайковского «О, что за ночь!» на тему Моцарта. Ознакомление с этим малоизвестным произведением... пробудило в Александре Афанасьевиче интерес к этому роду сочинений, результатом чего явились два вокальных квартета: «Птичка божия», 1899 год, и «Ветка Палестины», 1901 год.

Между тем упомянутое духовное завещание было все-таки написано. Но Александр Афанасьевич скрыл это от жены и сестер, чтобы иметь возможность разделить наследство по закону.

По воспоминаниям А.Б. Гольденвейзера, часть сбора с концерта была передана ялтинским социал-демократам. Как свидетельствует Е.П. Пешкова, часть сборов и с других концертов того времени также передавалась им же, причем Пешкова считает, что Спендиаров, как один из организаторов этих концертов, не мог не знать об этом.

Из автобиографии А. Спендиарова: «Сочинение это («Три пальмы») не только было весьма сочувственно принято публикой, но и удостоилось самого лестного одобрения больших музыкальных авторитетов — Римского-Корсакова, Глазунова...»

Александр Афанасьевич был председателем ялтинского Армянского благотворительного общества. Это общество помощи бедным армянам, проживающим в Ялте, было учреждено в октябре 1905 года.

Из воспоминаний тубиста С.М. Черножукова: «Я часто бывал у Спендиарова. От меня он узнавал, кто из оркестрантов ждался, и помогал им. Спендиаров вообще был известен своей щедростью. Он платил за многих неимущих учеников в Ялте и других городах, поддерживал материально музыкально одаренных детей».

Из монографии Г.Г. Тигранова «А. А. Спендиаров»: «В. легенде в иносказательной форме звучат мотивы одиночества, безответной проповеди «гласа, вопиющего в пустыне» — мотивы, настойчиво входившие тогда в русскую литературу и искусство».

Воспоминания С.Я. Маршака: «Я познакомился с Александром Афанасьевичем в Ялте, у Е.П. Пешковой, на даче Ярцева. Это было в 1906 году. Я приходил к нему в его красивый одноэтажный дом с «восточной комнатой», которая произвела на меня замечательное впечатление. Он был в золотой, расшитой тибетейке. Отнесся он ко мне, как к взрослому, без всякой снисходительности, и мне это очень понравилось. Он был добр, легок — счастливая натура. Я читал ему свои стихи. Он выбрал «Восточную легенду».

Воспоминания В.В. Ястребцева: «9 января 1908 года... Забела исполнила... «Колыбельную», «К луне» (вещь с несомненным подъемом и чувством пространственности) и «Веселись, о сердце-птичка» Спендиарова). Все эти романсы Спендиарова Николай Андреевич очень хвалил, говоря: «Вот это настоящая музыка!..»

«Он сразу овладел публикой и положительно очаровал ее, и это очарование было тем сильнее, что явилось для всех неожиданным. Все были поражены и восхищены, натолкнувшись на такой характеристический, пленительный, тонкий талант... («Русская музыкальная газета» № 17 за 1908 год. Из статьи Р. Геника.)

Известный русский композитор В.С. Калинников умер в Ялте в 1900 году, за год до переезда туда Спендиарова. О знакомстве двух композиторов никаких данных нет, поэтому заботу Спендиарова об увековечении памяти умершего в Ялте композитора вернее всего объяснить любовью Александра Афанасьевича к музыке Калинникова, постоянно исполнявшейся в ялтинских симфонических концертах.

Симфоническая картина «Три пальмы» имеет посвящение: «Моей матери».

«Он (А.А.) дружил особенно с Глазуновым, причем трогательно ухаживал за ним, когда тот бывал болен» (С.Н. Василенко).

Из воспоминаний Н.В. Андреевой-Отто, опубликованных в журнале «Арвест» № 11 за 1961 год: «Многих людей я встречала, но память об А.А. Спендиарове берегу как одну из лучших страниц прожитой долгой жизни...»

Отношения Спендиарова с Цатуряном и Суренянцем были и дружеские и творческие. Свою «Армянскую песню» («Ми лар блбул») он написал на слова Цатуряна. Оформление обложки к «Восточным, песням» («Аль-Джамаст», «Армянская песня», «Из Гафиза» и «Айше») он поручил художнику Суренянцу.

Осенью 1910 года Спендиаров получил предложение Бакинского армянского культурного союза написать кантату для голоса с оркестром к вечеру памяти писателя Абовяна. Он тотчас же взялся за сочинение и 18 января 1910 года закончил работу. Героическая песня «По стопам героев» («Могила Агаси») по роману Абовяна «Раны Армении» была исполнена в присутствии Глазунова в Ялте.

«Проводя много времени в обществе дорогого, горячо любимого мною композитора-друга, я имел полную возможности наблюдать за процессом его творчества. Он работал хотя и с лихорадочным увлечением, но довольно медленно, тщательно отделявая все детали и добиваясь того, чтобы, что называется «попасть в точку», — вспоминал впоследствии Глазунов. О процессе работы Глазунова рассказывал Спендиаров: «Глазунов часто гостил у меня в Ялте. Он писал там «Фантазию на финские темы» и оркестровал Первый фортепьянный концерт. Заинтересовавшись, пользуется ли Глазунов при сочинении роялем, я как-то, уходя, загнул чехол, покрывавший инструмент. Вернувшись, я обнаружил, что чехол не тронут»

Бубен с маленькими бубенчиками по краям

Из воспоминаний ученика Спендиарова С.А. Шатиряна: «На премьерe балета Александр Афанасьевич оказался рядом с Артуром Никишем и Рихардом Штраусом. Они восторгались подлинностью восточного колорита «Трех пальм» и спрашивали, Как он этого добился. Он ответил: «Я армянин». Александр Афанасьевич рассказал мне об этом на уроке».

Причина смерти Леси не выяснена — предполагали столбняк.

Из статьи Спендиарова о восточном оркестре, написанной в 1926 году в Ереване и помещенной в газете «Хорурдаин Метан»: «В 1916 году, будучи в Тифлисе, я познакомился со всеми восточными инструментами — струнными, духовыми и ударными, бывшими в употреблении на Кавказе. Своеобразная прелесть их тембров привела меня к мысли, что из этих инструментов можно было бы создать очень интересный оркестр. Тогда же, выразив удивление, что кавказские культурные музыканты ничего не сделали в этом направлении, я стал горячо советовать им заняться вопросом об организации восточного оркестра. При этом я рекомендовал расширить диапазон такого оркестра путем введения в него инструментов того же типа и тембра, что существующие, но более высокого и более низкого регистров, поручив изготовление этих инструментов лучшим специалистам...»

Из воспоминаний архитектора Мазмаяняна, в то время ученика армянской семинарии: «На концерте в семинарии выступал хор семинаристов под управлением композитора Спиридона Меликяна. Семинарист Каро Алабян (в будущем известный архитектор. — М.С.) Исполнил соло «Цирани Цар» Комитаса. Хор спел песни Комитаса «Лоло», «Аравотун бари луйс», «Луснагн ануш»... Спели мы также марш «Разудалые бойцы» Спендиарова, разученный специально для него, и «Тхконда» Спиридона Меликяна. Концерт происходил в большой классной комнате. Спендиаров сидел за партой, весь устремленный вперед, впитывая музыку, как губка. Иногда он просил повторить и записывал в маленькую тетраточку. Когда мы кончили, он поблагодарил нас и сказал: «Это для меня новый мир».

Господа (армянск.).

Из письма к Г.А. Меликенцову от 18 июня 1916 года: «Три врача, исследовавшие меня в этом году, нашли у меня расширение сердца, признали это явление довольно серьезным и запретили мне, между прочим, навсегда — курение и спиртные напитки и временно — дирижирование; последнее меня больше всего огорчает, так как мне предстояло в этом году выступить в качестве дирижера моих сочинений в Ялте (летом) и Петрограде (осенью). С большим трудом я вымолил у врачей разрешение поехать в июле в Ялту, чтобы устроить там в городском саду симфонический концерт (без моего участия) в пользу Армянского комитета помощи жертвам войны...»

Передаю воспоминания С.К. Меликян — жены композитора: «Когда А.А. пришел к нам, фонограф был заведен, Спиридон записывал ширакские напевы. Рукописи — на столе, всюду. А.А. надел наушники, чтобы ничего не упустить. Я позвала их обедать, они сказали: «Некогда, пока не дослушаем, не пойдем...» Потом А.А. попросил Спиридона спеть ширакские песни. Он спел, как всегда, очень горячо. Даже слезы были на глазах...»

На этом же вечере исполнялась пьеса «Эйдари» Н. Тиг-Раняна, послужившая основой «Персидского марша».

Из дневника Марины Спендиаровой: «Папа, Надежда Васильевна(Холодовская — учительница детей Спендиарова) и МарияЛюбимовна (Дюльбори — доктор) целые дни на митингах и народных собраниях».

Из дневника Марины Спендиаровой: «26 июля 1917 года. Концерт прошел великолепно. Красота была необыкновенная. По холмам — амфитеатр, усыпанный публикой. Внизу — люди, люди, люди... Из «Чертова домика» — музыка, а сверху луна — тихая, ясная, круглая. Папин хор исполнил «Хор поселян» и «Легенду». (Хором Спендиарова исполнялись также «Не плачь над трупами павших борцов» Н. Черёпнина, «Эй, Ухнем» А. Глазунова, русские и украинские народные песни.)

Курултай — татарское Учредительное собрание. Курултайцы — его сторонники

Из воспоминаний подруги девочек Спендиаровых Е.А. Герке: «Помню, как на стеклянную террасу (дома Спендиаровых) поднялся высокий человек в куртке из солдатского сукна. Он сказал, что он большевик, что в городе бесчинствуют курултайцы. «В вашем доме искать не будут, спрячьте на несколько часов...» — сказал он. Его спрятали в надежном месте...»

Из воспоминаний Марии Спендиаровой: «Папин письменный стол и все находящееся на нем притягивали меня. Там были карандаши простые и цветные, машинки для очинки карандашей, насыпанные в узкий сосуд стеклянные шарики, о которые вытирались перья, пресс-папье в форме лежащего кабана, Длинные резинки в виде толстого карандаша и гипсовый портрет Стасова. Кроме того, там были ящички из-под сигар, в которых хранились гвозди, гайки и другие мелочи».

Содержание оперы «Алмаст»:

Иранские войска под предводительством Надир-шаха безрезультатно осаждают крепость Тмкаберд. Ее защищают армянские воины, руководимые мужественным князем Татулом.

Старый шейх советует Надир-шаху подослать к жене Татула — тщеславной красавице Алмаст — ашуга для того, что бы тот обещанием персидского трона и славы склонил княгиню к измене.

Ашуг проникает в чертоги княгини. До его прихода Алмаст, охваченная мрачными предчувствиями, вспоминает об услышанном ею роковом пророчестве. Ашуг воспекает красоту Алмасты сулит ей царскую корону, и в ее душе оживают властолюбивые мечты.

Алмаст терзается противоречивыми чувствами — любовью к мужу и тщеславием. Ее душевный разлад достигает предела на пиру, устроенном Татулом в честь победы над персами. Танцуют девушки, мужчины, веселит всех шут, наряженный индейским петухом.

В трагическом танце Алмаст принимает решение. Она наливает снотворное в кубки Татула и воинов.

Опьяневшие воины засыпают. Алмаст призывает врагов горящим светильником. В крепость проникают персы и убивают воинов и Татула.

Надир-шах призывает к себе Алмаст. Он объявляет ей, что она будет его наложницей. Алмаст охвачена любовью к убитому князю и раскаянием. Она хочет убить Надира, но шах выхватывает у нее кинжал, и княгиню уводят на казнь.

Концерты устраивались в пользу просветительных учреждений.

Так называли в народе денежные знаки белогвардейского правительства.

В.В. Орловский рассказывал мне, что Спендиарова особенно интересовал вопрос национальной политики большевиков, столь близкой его творческому и гражданскому мирозерцанию. «С волнением слушал он о том, что эта политика несет нациям равноправие, свободное развитие всем национальным культурам, — говорил Орловский. — Возможно, что во время этих бесед, имевших место в первые месяцы после установления в Армении советской власти, в душе композитора зародилось еще пока не высказанное решение поехать в Армению по окончании работы над оперой...»

В Судакe виноградарство было единственным занятием жителей, и, таким образом, в случае засухи или града население оказывалось обречено на голодное существование. «В период голода в Крыму в Судакском районе наблюдалась наибольшая смертность», — писала 25 июля 1923 года газет «Красный Крым».

Привожу написанные в форме письма воспоминания артистки Ф. Г. Раневской, встречавшейся со Спендиаровым во время его поездки в Симферополь:

«Дорогая Марина Александровна!

Помню Вашего чудесного отца, к памяти его отношусь благоговейно и хочу Вам рассказать об одной нашей встрече, особенно для меня дорогой. Есть люди, встреча с которыми как праздник, и, наверное, о таких сказал Чехов: «Какое наслаждение уважать людей!» Праздником была для меня встреча с композитором Спендиаровым. И теперь, когда я вспоминаю этого чистого, доброго человека, у меня на душе светлеет. Была зима — голодная и необычайно холодная для Крыма. Я в ту пору уже была актрисой и работала в Симферопольском театре. Однажды ко мне пришел удивительно симпатичный, очень застенчивый, очень деликатный человек. Это был уже прославленный композитор Спендиаров. Он рассказал мне, что в Судаче живет его семья, что семья большая, что очень плохо с продовольствием и что он очень беспокоится о детях, о которых говорил с большой нежностью. По совету ближайших друзей Александр Афанасьевич приехал в Симферополь с целью устроить концерт из своих произведений, для того чтобы на деньги от сбора купить муки и крупы. Когда он все это говорил, у него был смущенный, даже виноватый вид. После беготни и хлопот, очень его утомивших, в нетопленном, плохо освещенном зале состоялся концерт. Александр Афанасьевич был во фраке. Бледный, вдохновенный, он чудесно дирижировал такой же чудесной своей музыкой. Может быть, в спешке забыли отпечатать афиши или просто не до музыки было голодным людям, но зал был пуст... Я страдала за Спендиарова, который, к моему удивлению, явился ко мне после концерта очень довольный. «А знаете, дорогая, — сказал он, блаженно улыбаясь, — я очень доволен. Правда, сбора не было, но зато как играла первая скрипка, ах, молодец, первая скрипка!» И долго он еще расхваливал талант первой скрипки, а потом стал придумывать способ, как расплатиться с оркестрантами. Помнится, он попросил меня очень смущенно пойти с ним на рынок продавать часы с цепочкой для расплаты за концерт. Этого не понадобилось. Симферопольские друзья исхлопотали для него в Наркопросе все необходимое для его семьи, а музыканты, приглашенные Александром Афанасьевичем, отказались от компенсации. Встреча со Спендиаровым

научила меня многому, а главное научила понимать, что такое художник.
1959 год. Ф. Раневская, народная артист

Текст охранной грамоты: «Настоящая грамота выдана композитору Александру Афанасьевичу Спендиарову в том, что он, Спендиаров Александр Афанасьевич, состоит под покровительством советской власти, органам которой предлагается ему оказывать всякое содействие. Квартира его в городе... Судак Феодосийского уезда не подлежит реквизиции и уплотнению без специальной на это санкции Крымнаркомпроса, имущество его, в частности книги, не подлежит реквизиции. Ему же предоставляется право пользоваться книгами из всех государственных учреждений, как-то: библиотека Центропечати, Госиздата, клубов и т. д. По делам, связанным с его профессией композитора, ему должно быть оказываемо содействие в отношении предоставления пропусков, средств передвижения и т. д. Независимо занимаемой им должности, он, Спендиаров Александр Афанасьевич, имеет право на получение академического пайка в размерах санаторного с правом замены одного продукта другим по месту своего пребывания. В случае возбуждения против него преследования об этом должен быть немедленно поставлен в известность Наркомпрос Крыма».

Газета «Рабочий» в январе 1923 года писала: «После той бессистемности и антихудожественности, которая начала было прививаться к сцене рабочего клуба, концертный ансамбль во главе с композитором А.А. Спендиаровым и под его руководством слушается всей аудиторией рабочего клуба с огромным вниманием, и даже такие, казалось бы, непонятные для неподготовленного рабочего номера, как музыка Ваха... по требованию рабочих повторяются дважды...»

Охрана работников искусств.

29 августа 1923 года газета «Красный Крым» писала: А.А. Спендиаров в первый раз продирижировал своей сюитой «Шах Персии Надир и армянский вождь Татул» из оперы «Алмаст», над которой работает теперь маститый композитор. Судя по исполненным четырем отрывкам, опера обещает быть красочным, сочным и вдохновенным произведением, в котором автор гениально использовал любимые восточные темы. Инструментальные части сюиты: «Персидский марш», «Атака», «Победоносное возвращение Татула» и «Молитва» — весьма колоритны и ярки. «Атака» блестяще и могуче оркестрована. Ариозо Шаха с безукоризненным искусством пропел Н.Н. Востоков.

Концерт, который послушать пришла вся Ялта, показал, что А.А. Спендиаров продолжает с прежним совершенством творить Прекрасную музыку, сотканную из чарующих восточных мелодии, облеченных в блестящие одежды изысканнейшей инструментовки и одухотворенных силой истинного музыкального таланта...»

Из воспоминаний Д.Р. Рогаль-Левицкого: «По окончании отделения... мы были в его артистической, где присутствующие артисты оркестра, В.И. Сук и многие другие, мне не знакомые, шумно выражали композитору свое восхищение. Наше появление прервало овации. Александр Афанасьевич тотчас же заключил в свои объятия взволнованного Василенко, а я потихоньку пробрался к исполненной партитуре и принялся отыскивать интересовавшие меня места. Наблюдавший за этой сценой В.И. Сук подошел к столу, на котором я просматривал партитуру, и сказал: «Учитесь, молодой человек, так инструментовать: прекрасная звучность и никаких излишеств».

Вскоре после установления советской власти в Армении один из руководящих работников, П. Макинцян, обратился с призывом ко всем армянам приехать на родину, чтобы помочь ее возрождению. Слух об этом призыве, дошедший до Спендиарова с некоторым опозданием, послужил толчком к его решению переехать в Армению. Переговоры об этом он поручил близкому другу Макинцяна М.М. Ипполитову-Иванову, командированному в декабре 1923 года в Тифлис, где он должен был встретиться с Макинцяном.

Об этом времени пишет в своих воспоминаниях композитор С.Н. Василенко, гостивший в то лето у Спендиарова: «Мирно потекли теплые, сияющие дни. Я вставал рано, купался в море и шел пить кофе в кабинет Саши, который работал по утрам над своей оперой «Алмаст». Сколько у нас было с ним интереснейших разговоров! Он показывал мне старинные армянские мелодии ашугов — народных певцов. Часами мы сидели, расшифровывая их. Некоторые мелодии по быстроте смены тональностей, по капризному колоратурному складу не допускали устойчивой гармонии. «Нужно для них создать особую систему изложения», — говорил Спендиаров. Он показывал целые фрагменты таких же мелодий — тюркских, азербайджанских, персидских. «Это особая манера восточной музыки, — продолжал он, — наслаждение певца звуком, переливами, затейливыми украшениями, как фантастические фрески древних зданий...»

Из воспоминаний певицы Арус Григорьевны Бабалян — преподавательницы Ереванской консерватории (жены Романоса Меликяна): «Когда Александр Афанасьевич приехал в Эривань, он остановился у главпрофобра. Абовян устроил в честь него завтрак. И мы с Романосом были приглашены. Я представляла себе Александра Афанасьевича совсем другим, гордым, недоступным, и очень волновалась перед встречей с ним. На завтраке робость совсем прошла. Еще до встречи со Спендиаровым я говорила с наркомом просвещения Мравяном о том, нельзя ли хоть силами приглашенных артистов поставить «Алмаст» в Эривани. Об этом А.А. передали. После завтрака он подошел ко мне и поблагодарил меня с таким видом, точно заботой о постановке его оперы я оказала ему большую честь. Меня просто поразила его скромность!»

Один из районов г. Еревана.

И.А. Оганезов, Д.И. Согомонян, А.А. Котляревский, А.С. Айвазян и
В.А. Шперлинг.

Дудук — народный деревянный духовой инструмент.

Дхол — народный духовой инструмент.

Из воспоминаний Н.А. Македонского — главного администратора Малого зала Армфилармонии: «Через меня Спендиаров познакомился со многими восточными музыкантами. Я приглашал в свой кабинет в Доме культуры тариста Бунятына, дудукиста Маркара, и он слушал их и делал пометки».

Гора, носящая название «Крепость ласточек».

Армянское название Арарата.

Оба композитора были связаны глубокой любовью к армянской музыке. Н.Ф. Тигранян рассказывал мне: «Я часто приглашал к нам в Ленинакан Александра Афанасьевича, и он часто приезжал. Однажды приехал с оркестром и остановился, как всегда, у меня. Приехавшие с ним педагоги тоже остановились у меня. И вдруг ночью они видят, что мы, полуодетые, стоим у рояля, что-то наигрываем и горячо беседуем. А говорили мы о восточной музыке, о гармонизации, о том, как гармонизовать ближе к характеру народной музыки».

Песня Саят-Новы.

Тар — народный щипковый инструмент.

«Здравствуй, дорогой дядя!» (армянск.).

«Амалик, Амалик, дай мне ключик!»

Возьми ключик (армянск.).

Известный композитор, ученик Спендиарова.

«Ослепнуть мне!» (армянск.).

«Тупым ножом зарежут!» (армянск.).

«Хороший мацун! Хорошие яйца! Керосин! Керосин!» армянск.).

Младший сын Спендиарова, названный так в память покойного брата.

Из воспоминаний Хорена Торджяна и Сурена Карагезяна: «Шла подготовка к юбилею. Должна была быть репетиция. Это было во дворе. Присутствовали многие музыканты. Спендиаров спустился вниз и сказал: «Меня берет сомнение насчет одной вещи в «Атаке»: как лучше — квартолями или триолями (когда несутся конные)».

Начался спор. Решили, что лучше триолями, как и было у Сиендиарова. Он сказал: «Ну, теперь я спокоен», — и торопливо пожал всем руки».

О том, что Спендиаров советовался с учениками, рассказывают многие из них.

«Однажды он позвал меня и Константина Мелико-Вртанесяна в один из классов и проиграл нам отрывок из «Алмаст», изображающий разрушение крепости Тмук при взятии ее Надир-шахом, — пишет Рубен Степанян. — Проиграв какой-то сложный пассаж, напоминающий падение камней, он начал с нами советоваться, как лучше писать: большими нисходящими терциями или чистыми квартами».

Из воспоминаний Н.Л. Македонского: «Он мне сказал, что будет на Севане, и я поехал туда со своей семьей. Была лунная ночь. Когда мы поднялись на гору (мы ночевали при храме), услышали звуки дудуков. Смотрим, сидят человек двадцать музыкантов на камнях и среди них А.А. Слушает игру рудукистов и делает пометки. Он мне потом сказал: «Это все мне крайне необходимо».

Из статьи Мариэтты Шагинян, помещенной в газете «Заря Востока» от 11 мая 1928 года: «Был конец сентября, и очень колючий ветер на Севане гнал черно-сизые волны на берег Крохотного островка, где собрались в этот день самые разные случайные люди. Две лодки привезли чуть ли не целую деревню. Торжественно обряженные, серьезные крестьяне за рога вытащили из лодки грустного черного барана с красной на рожке ленточкой. Баран упирался... На следующий день праздник начался. Под заунывную музыку водили хоровод. Сперва плясали девушки, не плясали, а только, плавно щупая землю ступней, двигались взад-вперед, потом, резко выбрасывая ноги, вышли мужчины. В сторонке сидел маленький человек с круглым личиком, глядел сквозь очки, улыбался детской улыбкой. Он слушал и впитывал. «Как это замечательно! — сказал он, вынув бумажку. — Это же, право, замечательно!» Крючки и точки зацепили на бумаге ритмы хороводов...»

Бул — народный инструмент, напоминающий флейту.

Звание «профессора оркестрового класса», «первого профессора Эриванской консерватории» было ему дано на юбилее, но в штате он не состоял и жалованья не получал.

По словам Д.И. Аракишвили, «его концерты были грандиозными армянскими праздниками. Шли даже из Авлабара..» Рубен Малхасян вспоминал: «Когда мы, студенты, несли его на руках из сада, он сказал: «Что вы меня уносите, я хотел в саду погулять!» «Заря Востока» от 27 июля 1927 года писала о царившем на этих концертах подъеме: «Оркестр встретил народного артиста АССР стоя, слушатели — длительной, горячей овацией. Ряд номеров был повторен по шумным требованиям публики. По окончании концертов — долгие вызовы...»

«Заря Востока» от 30 июля 1927 года: «...Вторая сюита из оперы «Алмаст», еще не исполнявшаяся, — одно из совершеннейших созданий Спендиарова. В четырех ее частях — картина пиршества, танцы, женский и мужской, и большая пляска Алмаст — блестящий композиторский аппарат предстал не только (во всеоружии прирожденного дара автора «Алмаст», но и с той широтой и смелостью приемов, которые приобретаются художником в результате долгого артистического искусства».

Присутствовавший на концертах в «Стелле» А. Мелик-Пашаев рассказывал мне: «Спендиаров удивительно умел соединить все детали в одно целое и дирижировал с таким увлечением, с таким подъемом, что заражал и оркестр и публику. Не знаю, как он дирижировал другими вещами, но своими дирижировал неповторимо».

«Имя Спендиарова было известно мне еще до встречи с ним и вызывало трепетное волнение и уважение, — рассказывал дочери композитор Арам Хачатурян. — Я знал, как его концерты проходили в Тифлисе, знал о его переезде в Армению. И вот наступил момент, когда он приехал в Москву. Сначала мы встречались на почве культурной работы, которая шла в Армении, на репетициях драматической студии, для которой я писал музыку. Александр Афанасьевич жил в последней комнате Дома культуры. Помню, как он выходил из своей комнаты и шел к роялю, шел, как на запах хорошего блюда, инстинктивно, медленно и становился за моей спиной, вытянув шею и устремив глаза в ноты.

Вспоминаю его концерт в Колонном зале, переполненном публикой. А.А. был одинаков всегда: каким был дома... таким же вышел и на эстраду. Никакой внешней аффектации, властно, но просто, все шло изнутри, от высшего музыкального состояния. Когда нравится музыка, кажется, что написал ее сам. Так воспринимал я музыку Спендиарова.

Казалось бы, студент техникума! Но он уловил у меня нечто, заинтересовавшее его, и много со мной беседовал. А я жадно выуживал у него его музыкальный опыт.

В то время у меня вырабатывалось музыкальное мировоззрение, и Спендиаров был одним из первых, кто способствовал формированию его. Он высказывал мне свои мысли и взгляды, говорил, как он расценивает то или иное произведение, рассказывал, как он писал «Алмаст», как он любит свою героиню, и добавлял: «Надо любить своих героев». Он говорил об армянском фольклоре, о влиянии на него персидской музыки, рассказывал, как он построил «Персидский марш», говорил о целомудренности тем и мелодий Комитаса, рассказывал о создании консерваторского оркестра; причем в его словах чувствовались забота, печаль и вера в будущее.

Я мечтал, чтобы он послушал мои сочинения, но его заняла тость не позволяла просить его об этом. Когда я, наконец, заикнулся, он воскликнул: «Голубчик! Да я с удовольствием!» И назначил этот важный для меня день. Я пришел с исполнителями. Игрались виолончельные пьесы (поэма для виолончели «Сон»), танец для скрипки и поэмы для фортепьяно. Он сидел рядом с пианистом, внимательно следил за нотами, после каждой проигранной пьесы требовал паузы и о чем-то думал. Когда все было сыграно, он сказал: «Это чрезвычайно талантливо! Чрезвычайно ярко!»

Сказал, что, если я изучу теорию композиции, из меня выйдет серьезный композитор; говорил об ашугских интонациях моих мелодических построений, о свежести гармонии. Ему импонировало то, что в моих сочинениях есть яркий национальный колорит. Он отметил, что это ново, не так, как у всех, и что в этом основная моя ценность. Этот завет его я культивирую и у себя и у своих учеников всю жизнь.

Добавлю еще одно воспоминание. Как-то шел я с Александром Афанасьевичем по Арбату. Навстречу — человек с румяными щеками и быстрой походкой. Это был Захарий Палиашвили. Спендиаров вскрикнул от радости. Композиторы горячо обнялись. Потом Александр Афанасьевич представил меня: «Мой коллега».

Очень часто, будучи в грустном настроении, отец мой импровизировал на тему романса «К луне».

О своем будущем произведении Спендиаров говорил и многим своим друзьям, но в разных вариантах. По словам поэта А. Исаакяна, с которым композитор был очень дружен в последние годы, он думал создать симфонию-кантату в двух частях, посвященную истории армянского народа с древнейших времен до наших дней, причем текст должен был писать Исаакян. Произведение должно было быть названо «Армения». Сарьяну же композитор говорил, что предполагаемое сочинение будет называться «Севанской симфонией».

Ныне Театр имени А.А. Спендиарова.

Из воспоминаний композитора А. Арутюняна: «...Мне было 6 1/2 лет. Я помню его добрые глаза, увеличенные стеклами очков. Усевшись за рояль, я тщетно старался дотянуться до педали. А.А. похлопал меня по плечу и сказал: «Еще успеешь». Я сыграл по слуху «Эриванские этюды», а потом, взглянув на печи, произнес: «Какие красивые печи!» А.А. это ужасно рассмешило. Смеялся он искренне и заразительно. Потом он сделался очень серьезный и, обернувшись к тому, кто привел меня, сказал: «У мальчика этого большое будущее».